

# Платон Беседин



Том 1

# Учитель

 FOLIO

# Платон Беседин

## Учитель. Том 1. Роман перемен

### Серия «Учитель», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9962854](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9962854)*

*Учитель: в 4-х т. – Т. 1: роман перемен / Платон Беседин; худож.-  
оформитель Д. А. Самойленко. : Фолио; Харьков; 2014  
ISBN 978-966-03-6935-1, 978-966-03-6936-8*

### **Аннотация**

«Учитель» – новое приращение одного из самых ярких писателей Крыма Платона Беседина, серьезная заявка на большой украинский роман, первое литературное исследование независимой Украины от краха СССР до Евромайдана. Двадцать три года, десятки городов, множество судеб, панорама жизни страны, героя на фоне масштабных перемен.

«Учитель», том 1 – это история любви, история взросления подростка в Крыму конца девяностых – начала двухтысячных. Роман отражает реальные проблемы полуострова, обнажая непростые отношения татар, русских и украинцев, во многом объясняя причины крымских событий 2014 года. Платон Беседин, исследуя жизнь нового «маленького человека», рассказывает подлинную историю Крыма, которая заметно отличается от истории официальной.

# Содержание

По истоптанной траве гуляет коза	4
Искусство быть смирным	10
Как цветок тля	50
Конец ознакомительного фрагмента.	109

# Платон Беседин

## Учитель. Том 1.

### Роман перемен

*Автор благодарит Фонд Рината Ахметова, Андрея Куркова, Веру Балдынюк, Александра Красовицкого, Зою Королькову, Людмилу Мороз, Ленину Берзину, Дмитрия Данилова, Евгения Черемухина, Билли Коргана, Николь Фиорентино, жену, родителей, бабушек, дедушек.*

*Посвящается Савченковой Марии*

## По истоптанной траве гуляет коза

### 1

Костлявая блондинка из катера, идущего от набережной Корнилова до северной стороны бухты, вертела книжку столь рьяно, что у меня начались «вертолеты», тягучие, как отдающая оскоминой на зубах жвачка. Вниз-вверх, влево-вправо, по кругу. Точно джойстик.

Сидя напротив, я пытался не смотреть, не погружаться

в транс от ее движений, предпочитая сосредоточиваться на оставленном для кондиционирования пространстве между загорелыми ногами, но проклятый квадрат мезмеризировал.

– Не вертите, пожалуйста! – вспыхнул я, и слова дались мне с заметным усилением.

Она хмыкнула и несколько раз демонстративно махнула книжкой; «Ночной молочник» Андрея Куркова:

– Вот так, да?

Но все-таки отложила, уставилась в окно катера. Я проследил за ее взглядом: Равелин замер у моря пористым пряником.

Однако издевательство не закончилось – оно вступило в новую, аудиальную, фазу. Тонкими настырными пальцами блондинка застучала по выщербленной пластмассе бортика. Звук нарастал, перерастая в шаманский ритм, который, подчиняя, дурманил, и катер, раскачивающийся на волнах, лишь дополнял картину.

Я, словно глядя блондинку, провел взглядом по угловатой руке к плечу с проступающей сеточкой вен, приблизился к горлу. Голова чуть повернута, мышцы напряжены. Вцепиться, нажать, задушить. Обрубить звук.

От блондинки я спасся лишь тогда, когда вернулся в родные Каштаны и, выйдя на обязательную прогулку, рассеял гипноз пивом. Впрочем, и тогда меня терзало послевкусие магической встречи.

Сидя на бетонных трибунах недостроенного стадиона

«Спартак», который хотели переименовать в стадион имени Эмиля Ганиева, зарезанного предположительно русскими националистами в селе Штормовое, я силялся вспомнить, куда задевалась бабушкина книга «Как защититься от чародеев».

На когда-то футбольном поле, где культями зомби торчали спиленные на металлы обрубки ворот, паслись белые, серые, бурые козы. Большая их часть ленивыми пашами возлежала на голой, как брюхо щенка, земле. Другие медленно, образами из фантазии Стивена Кинга, бродили по стадиону, удобряя его мелкой дробью экскрементов, напоминающих пивные колбаски из сельмага «Огонек».

В «Огоньке» работала Анжела. Анжела давала всем. Бабушка говорила, что у нее бешенство. Но славна Анжела была не этим, – сколько таких на планете? – а тем, что наматывала круги вокруг коробок и пачек, когда принимала товар. Непривычный экспедитор, наблюдая, как блондинка, упакованная в халат пчелиной расцветки, волчком бегаёт рядом, превращался в безвольную куклу. Опытный же экспедитор – тот, которому Анжела дать успела, – смотрел на вещи спокойнее, но и ему было не по себе.

Вот и пятнистая коза, точно Анжела, наматывала круги у трибун стадиона. Может, и у нее было бешенство. Так что если боднула – наблюдай десять дней, а коль сдохла – секи голову, вези в районную СЭС. На экспертизу. Чтобы тебя спасли.

Там, в кабинете с перхотными стенами и пустыми шкафами, будет сидеть злая баба, взопревшая, с лицом цвета спелого буряка, которая отправит обратно домой, потому что нет финансирования, не до козьих голов, тут хоть бы с иксодовыми клещами справиться.

Мысленно серфингуя подобным образом, я начинал думать, что в пятнистую козу вселилась костлявая блондинка из катера.

Такое бывает. Недаром бабушка рассказывала мне про бевсов и ведьм. Ей и самой одна жить не давала.

В ночь на Ивана Купалу ей под спину залез ледяной слизняк. Бабушка заворочалась, думала, чудится, но ощущение было реально. Зверь холодом расползался по спине, будто желе на тарелке. И чем больше и явственнее он становился, тем быстрее у бабушки уходили силы. Она испугалась, хотела перекреститься, но руки не слушались.

Тогда бабушка стала читать «Отче наш», но вместо правильных слов, вроде «Ежи еси на небеси...», гремела богохульная ересь. Но вдруг, – сидя на веранде, под желтыми польскими мухоловками, рассказывала бабушка, – огненными буквами появились шесть слов Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго...»

Через боль, через испарину зашептала их бабушка. В груди полыхнуло. Бабушка вжалась в кровать. Там у нее, под периной, лежали «колючки». Слизняк, попав на металлические шипы массажера, вздрогнул, скукожился и, хлопнув

жабой, нырнул под кровать.

Позже у «Огонька» бабушка встретила Людку Коржикову, с которой они работали на винном заводе.

– А что там соседка твоя – Зинка Козинцева, землячка моя? – спросила бабушка. С Зинкой бабушка переехала в Крым из Брянской области, но после они не общались.

– Лежит твоя Зинка: все лицо исколотое, точно иголками. Повалилась в куст ежевичный. Ты бы к ней, Степанида, зашла, что ли, все-таки землячка твоя...

– Зайду, чего уж там, – перекрестилась бабушка.

Глядя на бегающую козу, я силился вспомнить блондинку в подробностях. Бледная угревая кожа. Холодные рыбы глаза. Длинные настырные пальцы. И красная ниточка на запястье.

Вот она-то и показалась мне странной. Мы все носили цепочки с названиями музыкальных групп или веревочные бусы, подаренные протестантскими миссионерами, а тут – красная ниточка. Как только я подумал о ней, бешеная коза успокоилась, легла на траву, замерла.

## 2

Смысл красной ниточки я выяснил на следующий день у особы, которая, видимо, знала все. Звали ее Маргарита Сергеевна, и она заведовала сельской библиотекой.

У нее, похоже, было всего две пары обуви: высокие бот-

форты, так густо смазанные кремом, что оставляли следы на полу и стенах, и цветастые туфли на небольшом каблучке – обе совершенно неуместные для сельской местности. Она и сама казалась неуместной, чужой, вставленной из другой реальности, как инородная картинка в пазл: изможденная, вытянутая, с суетной улыбкой и всегда аккуратными ногтями. Они злили окружающих больше всего.

Не знаю, где она доставала книги по эзотерике, каббале – к последней и относилась красная нить, – но библиографом Маргарита Сергеевна была отличным.

Она даже приносила самопальные распечатки, на оборотной стороне которых шли бесконечные таблицы с шести-, семизначными цифрами. В сочетании с текстом о магии чисел смотрелись они убедительно.

В каббале я, безусловно, так ничего и не понял, но решил определиться со священным числом – по наитию, без особой на то причины я выбрал «36». Теперь, сдавая контрольные и рефераты, я наносил шестерку и тройку на уголки листов.

Числа, видимо, задели меня так сильно, что тридцатого декабря, прочитав в «Крымской правде» статью геничевского астролога о том, что 2003 год будет особенно трудным, мистическим, – «число 23 издревле считалось сакральным, отклонение Земли двадцать три градуса...» – я, как сектант, принялся ждать локального апокалипсиса.

# Искусство быть смиренным

## 1

Валентина Дмитриевна лишь улыбается, когда и без того наглый Петя Майчук, перекатывая сигарету во рту, изображает дельца, приехавшего покупать южноамериканские рудники. Я, стало быть, изображаю такого чилийского рудокопа, открывшего месторождение, а теперь желающего продать его, дабы наконец-то отдохнуть где-нибудь в Бахиа.

Сначала я планировал нацепить шахтерскую каску, но у знакомых ее не оказалось. Обещал достать Петя, но, видимо, загулял и даже не вспомнил. Из-за отсутствия каски я играю южноамериканского рудокопа, нацепив оранжевую ветровку.

По сценарию Петя – или Педро, если соблюдать реализм до конца – изображает пронырливого хапугу, а я – застенчивого трудягу. Все как в обыденной жизни. И стараться не надо.

Я потому и волочусь за Петей, у него – крепкого, общительного, уверенного в себе парня – есть то, что у меня никогда не будет: девушки, богатые родители, свобода, а главное – успех во всех его видах и проявлениях. С шуток Пети сме-

ются. Развязность принимают за коммуникабельность. Он может хватать девушек и за коленки, и за груди – стоит лишь захотеть. Во многом потому, что он богат. Не знаю, чем сейчас занимается его отец, но говорят, что начинал он с вывоза песка с пляжей Любимовки и продажи его в качестве стройматериала.

Другому бы ведь не разрешили – пусть и ради чистоты эксперимента – использовать настоящую сигарету, хотя учителя знают, что почти все мы – кроме девочки в извечном синем платочке, на которую наплевать, – курим. Бегаем за пыльные кипарисы, высаженные еще моей мамой, на задний двор школы. Пускаем сигареты по кругу, и если кто-нибудь приносит «Кент» или «Парламент», то становится «весовым», с ударением на последний слог.

Сейчас у доски с нарисованной мелом суммой, которую надо сдать на поездку в Никитский ботанический сад, Петя прогуливается, заложив за спину руки, спрашивает, много ли в руднике железа. Я тыкаю деревянной указкой в карту полезных ископаемых, демонстрируя, где затаились богатства, дожидаящиеся алчных, загребущих рук.

Таково наше домашнее задание по географии. Мы не готовились. Я потому, что и так достаточно знаю, а Петя потому, что в графе «Фамилия» ему написали Майчук.

– В общем, железа хватает, – резюмирую я экскурсию по руднику.

– Ну, забились, беру, – скалится Петя.

Жмем руки друг другу. Валентина Дмитриевна довольно кивает, выводя оценки в журнале:

– Бессонов, Майчук, садитесь – «отлично»...

Усаживаемся за первую парту. И у меня, и у Пети плохое зрение.

– Следующий доклад подготовили Вадим Головачев и Алексей Новокрещенцев...

Петя всовывает наушник в левое ухо, набивает смс, тыкая в свой «Самсунг С100». Я же, хоть и нет повода, до сих пор волнуюсь; меня потряхивает, как Чили в 1960 году.

Пухлый, с довольным сальным лицом сын баптистского пастора Вадик Головачев выплывает к доске вразвалочку, «морским волком», сходящим с океанского лайнера на портовый берег, где пабы, выпивка, шлюхи. Рыжий Леха Новокрещенцев, лучший футболист школы, наоборот, торопясь, семенит, как всегда нервничая перед ответом. Он заикается и оттого теряет, отвечая устно, хотя, на самом деле, дисциплины знает неплохо, просто ему легче писать, чем говорить.

Новокрещенцева невзлюбила русичка за то, что, по слухам – эти липкие, несмыываемые сельские слухи, – его отец, вдовец, предпочел жить один, а не с ней. Поэтому русичка мучает Леху чтением стихов наизусть. Один раз – на Есенине – она так затерзала его, что он расплакался.

Ничего, зато на футбольном поле Леха Новокрещенцев бог. Ну или полубог, учитывая игру Зидана и Баджо.

Впрочем, сейчас не до них. Надо решить, как пригласить

на свидание Раду.

## 2

Отец хотел, чтобы я стал медиком. Ухогорлоносом. Стоматологом. Или хирургом. «Подыхать буду – спасет, надрез сделает, кровь пустит», – выпив, бубнил отец. Пьяный он клялся мне, что даст денег – «у меня этих купюр навалом» – на репетиторшу. Мол, он даже знает одну, Люську, которая «будет натаскивать по биологии только за то, что ее твой ба-тя прет».

Я всерьез думал, что меня отправят на занятия к этой Люське. И очень переживал. Потому что тогда у меня начались проблемы с желудком. Такие серьезные, что пришлось ехать к гастроэнтерологу в Севастополь.

Врач, бойкий старик с жутким протезом вместо левой руки, поставил мне особую форму дисбактериоза. Выписал на фирменном бланке лекарство, чье название значилось на фирменном бланке.

Мама несколько раз жалостливо поблагодарила его, и мы сунулись в ближайшую аптеку. Солидную, внушающую, из советского прошлого: с деревянными стеллажами выдвижных ящичков и причудливыми растениями в декоративных горшках. Здесь не только продавали, но и готовили лекарства. Таких аптек почти не осталось: в конкурентной бойне их вытеснили либо каморки три на три метра, либо супер-

маркеты, где продают все, но ничто не помогает. Даже фармацевт за стеклом отличалась монументальностью: не типичная борзоидная писюха, устроившаяся работать по благу, а высокая дородная женщина с прической Елены Малышевой.

Она взяла протянутый бланк, по памяти назвала цену. Мама как-то смущенно заулыбалась, а после выдавила: «Хорошо, хорошо, мы попозже зайдем...» И засобиралась на выход, даже не взяв рецепт.

Дисбактериоз мне лечили народными методами. Ромашкой и зверобоем, сывороткой и земляной грушей. Но он, зараза, не проходил.

Поэтому идти к Люське я боялся. Вдруг не справлюсь с урчанием. Или того хуже – захочу в туалет. А там надо делать либо все очень тихо, либо покашливать, чтобы скрыть предательские позывные желудка.

И все же заниматься биологией мне очень хотелось. Пусть до шести лет я и планировал стать директором леса – окружающие удивлялись, говорили, что такой профессии нет, уверен, они ошибались, – но лет в двенадцать победила основательность. Врач – это серьезно. Он спасает людей. Мне очень хотелось кого-то спасти. Хотя бы себя.

Поэтому в итоге я все же решил заниматься у Люськи.

Но недели шли, а отец молчал. Тогда я дождался, когда он заглянет к маме – более или менее трезвый, – и, подойдя к нему, будто к начальнику за повышением, спросил:

– А, что там с репетитором, пап?

Он допил самогон из жестяной кружки и, вытерев шершавой ладонью рыжие от курева усы, отчеканил:

– А хер его знает!

Мама вспыхнула, стукнула деревянной ложкой – любые другие она не признавала – и, похоже, хотела что-то сказать, но смолчала. Постояла, тяжело опершись о край стола, накрытого клетчатой скатертью, и принялась собирать посуду.

– Слышь, мать, а добавки?

– Дома поешь, – мама сложила тарелки в эмалированный таз, поставила греться воду.

Отец повертел кружку, точно собирая остатки – ничего не нашел, встал и не прощаясь вышел из кухни.

Чтобы не злить мать, я догнал его на улице. У исколотого ежевикой забора.

– Пап, так может мне репетитора поискать, а, пап? – Я как маленький, хотя был почти его роста и комплекции, дернул отца за полосатый рукав. – В Севастополе-то наверняка есть...

– Слушай, отъебись, а? – Он вдруг, замерший, покраснел. Достал пачку «Президента», закурил. – У матери своей спроси. Мне чего мозги компостировать?

– Так ты ж сам, – мне показалось, что я вот-вот заплачу, – предлагал. Хирургом, тебя лечить...

– Не хер меня лечить, – еще больше краснея, отшил отец, – мне помирать скоро! И не реви, чай не конец света!

Развернулся и под лай собак вышел на переулок. Сорвал зеленых слив с соседского дерева и, размахивая загорелыми по локоть руками, зашагал прочь.

Больше он тему репетиторов и медицины не поднимал. Даже пьяный.

В тот вечер, проплакав в сарае, у заготовленных на зиму дров, я поклялся выучиться на медика. Не утирая слез, обещал себе найти деньги на севастопольского репетитора. Клялся поступить в Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского.

Мне казалось это вполне реальным, возможным. Ведь сдавать надо было химию и биологию. Плюс устное собеседование.

Биологию я знал неплохо. Выиграл в школьной олимпиаде, занял третье место на районной (благодаря заученному, точно стиху, вопросу про мейоз и митоз), но на региональной срезался.

А вот химия пугала, вызывала сомнения. Наши валентности не коррелировали.

Правда, на олимпиады по химии я тоже ездил. И позорился там за всех. Тем более, что тестировался сразу на районном уровне. От школьной олимпиады меня, как надежду класса, освободили. На районной же я смог написать лишь один вопрос, и то благодаря рыжей девочке-кнопке с лицом мопса. Когда я обратился к ней за помощью вновь, то она, повернувшись, сделала такое преданное лицо, что меня неволь-

но перекосило. Она видела эту кислую мину раньше и в своей отчужденности все понимала. Да, не красавица, но зато отличница, а вы, раз такие жуткие привереды, ничего не получите!

Наша учительница химии Алевтина Сергеевна, красившая волосы, как и, наверное, все химички, в нежно-фиолетовый цвет, винила в моем олимпийском провале района, успокаивая меня в кабинете с порванной таблицей Менделеева, которому кто-то очень давно пририсовал синяки под глазами.

– Они, Аркаша, меня давно не любят. Потому что я РХТУ имени Менделеева оканчивала и с Ферсманом работала. А они кто? Никто! Обычные пешки, чиновники средней руки! Не ученые, не изобретатели, не энтузиасты...

С Ферсманом она, безусловно, не работала, но РХТУ и, правда, оканчивала. Оттого ей и было так душно в нашем селе. Она старалась развлечь себя. Рисовала стенгазету. Участвовала в самодеятельности. Сажала не картошку, как все, а пальмы, привезенные внуком из Ялты. Но больше всего она любила загадки.

Например, пятерку за семестр Алевтина Сергеевна поклялась вывести в классном журнале тому, кто ответит ей, где у каждого в доме утка. Версии сыпались, грозя придавить Алевтину Сергеевну очевидностью. Ведь каждый держал дома птицу. Во дворе. В загоне. В пруду. Жестикулируя, гримасничая, кричали мы. Но Алевтина Сергеевна, конечно,

была не так проста.

Собственно, тогда, ответив на ее зачетный вопрос, я и заработал прижизненную славу школьного химика и румянощечий позор на олимпиадах.

– Под кроватью, у деда! – перекрикивая одноклассников, выдал я.

– Молодец, Аркадий! – всплеснула руками Алевтина Сергеевна. – Верно мыслишь!

Так я записался в ее любимчики и мог бы пойти к ней на репетиторство, но, думаю, толку бы из этого не вышло, потому что вместо окисления железа и разложения щелочи она бы осыпала меня загадками.

Нужны были деньги – я клялся их заработать. Чтобы стать медиком. Оперировать в морском госпитале, чьи окна выходят на Карантинную бухту, где пенобородые волны накатывают на треугольные волнорезы, похожие на огромные кукурузные хлопья из детских завтраков.

«Аркадий Алексеевич, спасайте больного, пощадите нервы и души родственников». Те подойдут ко мне в длинном, пропахшем хлороформом коридоре, по-собачьи жалостливо заглянут в глаза и, протягивая двести, пятьсот или даже тысячу (когда я стану врачом, такая купюра несомненно появится) гривен, произнесут заветное всеобъясняющее «спасибо». Ничего – я буду монументален, – это моя работа, но деньги, конечно, возьму. Так делают все приличные врачи. А я буду врачом приличным.

Подобные мысли, фантазии будили во мне странное, почти животное, возбуждение. Я упивался им, набирая обороты, раскручиваясь, как маховик.

Но стоило выйти за порог дома, окунувшись в идущую со скотного двора Алимовых гнилостно-терпкую вонь навоза, экзальтация проходила. Улетучивалась. И оставалась пустота, знакомая с детства. Когда счастье – вот оно, протяни руку, ухватись, но нет ни сил, ни желания.

Я вертелся возле «Огонька», где якобы требовался грузчик, но не заходил внутрь, а чаще всего просто стоял, тщетно стараясь поймать то мотивирующее возбуждение, которое все еще пребывало со мной уходящим, неуловимым отблеском светлого будущего.

Так я ходил неделю или, может быть, две, пока наконец не осознал, что ни на какую работу, данную мне без поручения со стороны, полученную исключительно по своей инициативе, я, в принципе, не способен. Позже это чувство мне доводилось испытывать сотню раз, вновь и вновь поражаясь, как менее сообразительные ребята, знакомые по детскому саду и школе, добиваются большего, нежели я, успеха, деловито, словно в вагоне СВ, устраиваясь в жизни без особых на то предпосылок. Полагаю, секрет их заключался в топорной простоте, которой они довольствовались, усваивая основные, примитивные правила существования без желания идти дальше, в иные плоскости бытия.

Мечта стать хирургом, которая еще могла бы превратить-

ся в нечто действенное, материальное, продержалась во мне не больше недели, постепенно, медленно, как застоявшаяся вода в раковине, сходя на нет и в итоге превратившись в отложенное воспоминание, приятное, но бесполезное. Я тешил себя тем, что мои герои Курт Кобейн и Эксл Роуз добились успеха в двадцать четыре и двадцать пять, а мне еще нет двадцати. Так успокаивал я себя. И смирялся.

Я был спокоен и в тот вечер, когда мама вернулась домой хмурая, взерошенная. Мы на ходу поздоровались. Я, стараясь быстрее исчезнуть из кухни, насыпал в пузатый фарфоровый чайник с отколотой ручкой зверобой, ромашку, бессмертник – все, что спасало от дисбактериоза, плеснул кипятка и убежал в дом.

Но все равно был пойман, когда, проголодавшись, сунулся за куском бородинского хлеба и мясной закаткой.

– Присаживайся, сынок, поговорим, – тихо сказала мама, растирая виски, как всегда при мигрени.

Хлипкий табурет с обмотанной изолентой ножкой заскрипел подо мной.

– Что думаешь с поступлением? – пристальный, немигающий взгляд. Глаза у мамы воспаленные, красные.

Я внутренне съежился, подобрался. Мама смотрела так, будто уже определилась, но хотела, чтобы окончательное решение мы якобы принимали вдвоем. Она говорила о необходимости выживать, об ответственности, о куске хлеба, о старости, о запасном варианте.

В медицину еще успеешь пойти, сынок, а сейчас надо подстраховаться. Ты же понимаешь, репетитора нам не потянуть. И вдруг не поступишь? Ты, конечно, молодец, умница, на золотую медаль идешь, но там же надо взятки давать, а откуда у нас деньги? Согласись, лучше иметь запасной вариант. Вот в соседнем Песчаном севастопольский университет открыл курсы. Раньше только при самом университете были, так это в Севастополь ездить, а тут прямо в Песчаном. По моему, неплохой вариант. Потом можно пойти куда угодно, но сейчас надо подстраховаться...

Мама старалась говорить уверенно, но страх в глазах – и она сама понимала это – был красноречивее ее, в общем-то, правильных слов.

Возможно, мне надо было оппонировать. Говорить что-то про медицинский университет. Про то, каким великим патофизиологом был Сергей Иванович Георгиевский, раз в его честь назвали вуз, где учатся три тысячи студентов. И я хочу быть одним из них. Все это, безусловно, надо было сказать. Возможно, кто знает, я бы, воодушевленный заразительным спичем, прямо с кухни, заставленной банками с консервацией – сколько же сил уходило на ее приготовление каждое лето! – отправился поступать в университет имени Георгиевского. Но я лишь выдавил, точно предал:

– Не знаю...

Самые глупые, самые фатальные, самые бездарные слова для мужчины. Дело ведь было не в маме, не в ее аргументах.

Я сам не хотел рушить predetermined мне план. Так было легче.

В очередной раз я побоялся (или поленился) взять на себя ответственность. Пусть они решат за меня. Я ведь точно знал, что кто-то неизбежно будет отвечать за результат. В своей правоте уверен я не был, а, значит, существовал реальный шанс ошибиться, встретившись с наказанием.

Потому мне и нравилась школа: расписание, оценки, домашнее задание, сроки, конкретные задачи, ясные цели. Это был рай определенности, против которой можно и нужно было бунтовать, дабы поставить себе галочку несогласия, обязательную для юношеского максимализма. Но, по факту, я наслаждался системой, дышал ею, как соседский токсикоман Славик купленным по знакомству клеем «Момент».

Потому через неделю я сидел в школе Песчаного, на подготовительных курсах Севастопольского национального технического университета.

Рада училась в параллельной группе.

### 3

Деревня становится особенно тоскливой во время дождя. Вся она как бы расклеивается, размокает, и ноги, чувства утопают в грязи, смешанной с мусором и навозом. И даже редкий, диковинный для каштановского пейзажа асфальт, постеленный, со слов бабушки, еще при Брежнев, превра-

щается в нечто похожее на дешевую гречневую кашу. Вода в прорытых по краям дороги канавах становится хлопчатой, мутной, приобретая темно-зеленый оттенок, каким обычно отливают на солнце зловонные мухи, оккупирующие деревенский сортир.

В Крыму, правда, осадков бывает немного, но в первых числах того октября, когда я записался на курсы, дождь лил всю неделю. Оттого еще больше не хотелось ехать в Песчаное.

Зонтик я по обыкновению не взял, боясь потерять. Чаще зонтов я терял только шапки. Да и нормального – черного или темно-синего – зонтика у нас не было; мама постоянно всучивала мне уродливую, жуткой расцветки каракатицу, из которой торчали ржавые спицы. Поэтому уже на остановке мой аккуратно поставленный польским гелем чуб скусился и превратился в безвольного слизняка, ползущего на отмеченный мальчишескими угрями лоб. Одежда намочла. Хуже того – тряпичный рюкзак “Nirvana”, который я упросил купить маму на симферопольском рынке, водостойким тоже не оказался, и тетради в нем пропитались влагой. Это был крах. Сколько бы я ни прятался на пустой остановке под разлапистой крымской сосной. Низ ее ствола был основательно побелен, хотя мне казалось, что по правилам белят только фруктовые деревья.

В таком виде идти на подготовительные курсы было, конечно, нелепо. Со стороны, наверное, я выглядел как раз-

мокшая в кипятке лапша быстрого приготовления. Только специями забыли присыпать. Но идти всё-таки надо. Потому что на первом занятии, как сказала мама, запишут тех, кого допустят к посещению на весь семестр.

Да, надо было ехать. Это я потом сообразил, что плати деньги и ходи, когда хочешь – капитализм нынче, сынок, – а тогда, накачанный, как футболист перед финалом, мамой-тренером, я втиснулся, оставляя лужи на вспучившейся резине салона, в старый ПАЗ, протянул водителю деньги и, уткнувшись в книжку, поехал в Песчаное.

Подготовительные курсы устроили в школе. Утром и днем здесь преподавали физику, математику, биологию, географию, русский язык, другие предметы, а вечером те же и приглашенные учителя, но под вывеской Севастопольского национального технического университета углубленно рассказывали про физику, математику, русский язык.

Школа мне не понравилась. Хмурое, отделанное серым булыжником здание в два этажа, растянутое по длине, оно казалось приплюснутым, точно кепка кавказца. С левой стороны от входа мостился памятник выдающемуся крымско-татарскому деятелю Мустафе, фамилию которого я так и не смог запомнить, хотя честно старался, а справа плотным рядом шли кусты смарагдовой туи.

Старик-охранник, сидящий в отгороженной пластиком и стеклом будке, на вопросы о курсах не реагировал и вообще делал вид, что здесь оказался случайно. Ориентировался

я по людям: куда они – туда и я. Удивляло то, что мелькали преимущественно славянские лица. Группка татар непривычно тихо держалась в сторонке. Уже вечером, анализируя ситуацию, я сообразил, почему их было так мало. Татары отправляли детей на учебу не в Севастополь, а в Симферополь. И это логично, потому что Севастополь – город русских моряков, отчаянно переиначиваемый московскими инвесторами в курортный рай, а Симферополь – административный центр, где, несмотря на украинскую власть, главное влияние имеет Меджлис.

Из Каштан я так никого и не встретил. Зато на ступеньках познакомился с Квасом. Вторым человеком после Рады, как я стал называть его позже.

Он столь активно вертел башкой – на голову это косматое, белобрысое мракобесие не тянуло, – что повалился на меня, идущего сзади. Квас, похоже, и сам испугался, едва не проглотив шариковую ручку, торчащую изо рта.

Это было его страстью – разгрызать в крошево колпачки гривневых шариковых ручек. Грыз он их чаще, чем писал ими. Когда же забывал или окончательно уничтожал колпачок, а другого не было – одалживал материал у меня.

Квас тряхнул белобрысами космами и спрятал ручку в рюкзак, с которого суженными зрачками смотрел прорезиненный Курт Кобейн. Я невольно взглянул на свой рюкзак – для сравнения. Мой был лучше. Курт сидел с акустической гитарой у микрофонной стойки, среди горящих свечей и бе-

лых лилий – кадр с последнего концерта Nirvana на MTV “Unplugged into New York”. Разницу изображений оценил и Квас.

– А таких уже не было, – с сожалением протянул он, глядя на мой рюкзак.

– Ага, – растерялся я, – это мне мама купила...

– Нормальная у тебя мама.

– Это да, – и с особой глубиной чувства я добавил: –  
Очень!

Он протянул руку:

– Юра Васильев.

– Аркадий Бессонов. – Рука у него была по-мальчишески влажной, холодной.

– По правде сказать, – он улыбнулся, – все называют меня Квасильев. Или Квас...

Я кивнул, но Бесиком, как меня окрестили в школе, представляться не стал.

– Ты из какой группы?

– Из первой.

– Я тоже. Так куда нам?

– Вроде бы на второй этаж.

– Ну тогда двигаем. – Мы вновь зашагали по лестнице. –  
А тебя, кстати, какой альбом Курта больше всего штырит?

Он говорил именно так – песни, альбомы, концерты Курта. Группы “Nirvana” для него не существовало. Только Курт Кобейн.

Я хотел ответить что-нибудь вычурное, удивить, но от волнения первого общения ляпнул стандартное:

– “Nevermind”.

– Не, ну это понятно, – разочарованно протянул Квас. – А песня?

– “Lithium” и “On a plain”, – с ходу ответил я и даже напел: – “I like it I’m not gonna crack...”

– “I miss you I’m not gonna crack”, – улыбнувшись, подхватил Квас, в отличие от меня попадая в ноты. – Круто! А то все по “Teen spirit” прутся...

– Или по “Come as you are”, хотя она клевая.

– Ага, – Квас достал из рюкзака ручку. – В общем, давай это... будем тусоваться. На занятиях и так.

Я согласился. И мы зашли в класс с портретами Льва Толстого и Ивана Тургенева на обклеенных бледно-синими обоями стенах.

## 4

Несмотря на присутствие литературных классиков, в кабинете занимались физикой и математикой. Брали интегралы и дифференциалы, высчитывали напряжение по закону Ома и силу тока по законам Кирхгоффа.

Математика мне давалась легко. И слава богу, потому что преподавательница Ирина Викторовна Киреева – рыжеватая, веснушчатая женщина в ярко-красных очках – относи-

лась ко мне не то чтобы с антипатией, но определенно с подозрением. Будто мы встречались до подготовительных курсов, и я провинился в чем-то.

Ирина Викторовна приехала из Севастополя. Летом у нее погибли внучка и сын. Напротив здания университета, где она преподавала радиотехникам и кибернетикам высшую математику.

Сын должен был отвезти внучку в детскую поликлинику. Заказал такси. У института, в Стрелецкой балке, на встречную вылетел черный «паджеро». Протаранил такси «Дэо Матисс». Сталь непрочная, тонкая. «Паджеро» тоже не танк, но массивнее. Все пассажиры «Дэо» – сын, внучка Киреевой, водительница такси – погибли на месте, превратившись в подобие свекольных котлет, которыми нас потчевали в школьной столовой. «Паджеро», как гласит щедрая на эвфемизмы милицейская хроника, скрылся с места преступления. Его водителем оказался сын главного православного священника Севастополя.

С Киреевой пробовали договориться. Но единственным ее желанием – только бы нашлись силы – было задушить и водителя черного джипа, и батюшку. Пусть отмолит грехи на небесах. Но сил не было. И родных не осталось. Никого не осудили.

Ирина Викторовна просила в университете расчет. Хотела уехать на родину, в Алтайский край, но ей не дали. Уговорили, отправили подготавливать абитуриентов в Песчаное.

Сняли одноэтажный домик, отделанный розовой плиткой. Странная в своей заботе о людях практика как для института постсоветского времени.

Первый месяц Киреева регулярно вызывала меня к доске. Просила решить задачу. Я нервничал, заикался, точно Леха Новокрещенцев в школе. Решение я знал, но смущали вечно заляпываемые в дороге штаны и ботинки, которые в сочетании со старомодной одеждой стесняли перед оценивающими взглядами одноклассников.

Выхода было два: либо превратиться в изгоя – “Grammar take me home”, – либо адаптироваться к учительским вызовам. Неожиданно для себя я выбрал второе. В этом мне помог Квас. И его красная спортивная сумка с нашивкой “In Utero”.

Ее он постоянно таскал с собой. Тетрадей, учебников Квас не носил – только запас ручек, – потому я не мог сообщить, для чего ему эта сумка. Пока однажды он ее не раскрыл.

Валил мокрый снег, падающий на лицо слюнявыми поцелуями неопытных семиклассниц. Я в мокрой куртке терся у входа, под ржавыми остовами турников. Квас появился со стороны сточной канавы, злой, насупленный. Спрашивать его о причинах дурного настроения было всегда бесполезно – не отвечал. Но тут он начал говорить сам:

– Ничего, блядь, не замечаешь?

Я присмотрелся:

– Вроде бы нет...

– А боты, блядь, боты! – Квас сокрушенно взмахнул сумкой. – Родственнички презентовали! – цедя эти слова, он как бы соревновался, какое из них ему более отвратительно.

Его ноги были упакованы в нечто похожее на деревянные колодки тошнотворной расцветки.

– Мрак!

– Да ладно, чего ты? – успокаивал я, но хотелось смеяться.

– Хер с ними, – вздохнул Квас. – Давай раз боты, сука, такие, накатим!

Я вздрогнул. Через пятнадцать минут начинались занятия. Да и выпивал я преимущественно один, так как стеснялся употреблять алкоголь при людях. Особенно раздражали домашние посиделки с фразами вроде «А чего это Аркаша не пьет? Лучше уж дома, чем в подворотнях».

– Да мы по чуть-чуть, не ссы...

Прячемся в укреплениях на заднем дворе школы. Укрепления – землянка, стенки, лабиринты из металлических труб, – видимо, предназначены для занятий по допризывной подготовке юношей. Раньше эта дисциплина называлась «Начальная военная подготовка», и так мне нравилось больше. От юношей в укреплениях – битое стекло и сморщенные блямбы высохших экскрементов, от армии – несколько шин, выкрашенных в защитный цвет.

Устраиваемся на каменном выступе с надписью «Артем, я люблю тебя и выйибу в жопу». Надеюсь, это не военрук

писал.

Квас ставит сумку, жужжит язычком молнии. Внутри – пузатая бутылочка «Первака», квашеные огурцы в полиэтиленовом пакете и свертки, замотанные в мятую фольгу. В них – влажная, вареная свекла, порезанное сало, горбушка черного хлеба.

– Давай по одной, – Квас достает металлические стопочки, булькает водки, – закусываем...

Вот почему его называют Квас.

С водкой в желудке терпеть Кирееву легче. И даже привычный выход к доске только добавляет позитивных эмоций. Мел движется плавно, слова льются певуче – этакая песня решения интегралов, – и я увлекаюсь настолько, что начинаю красоваться, вводя в ступор не только Кирееву, но и Танию Матковскую, чье лицо напоминает куриную жопку. Квас подмигивает, не выпуская изо рта колпачка ручки.

После столь вдохновенного ответа вызывать меня стали реже. Да и я уже не терялся, а наоборот – пытался фраппировать; слишком забавным казалось лицо Тани.

Физика мне давалась сложнее. Хотя, по словам Кваса, еще не придумали более легкой науки: есть «дано», есть формулы – соединяй, решай. Но не получалось. Может быть, лирик во мне душил физика.

Зато преподавательница – Варвара Петровна Калдаева – относилась с симпатией. А вот Кваса за его манеры третировала. Каждое занятие мы слушали ее сакраментальный во-

прос:

– Васильев, где твоя ручка?

Квас тут же вытаскивал ее изо рта, слюнявую, жамканную, и медленно произносил:

– Вот она, Варвара Петровна!

При этом олимпийским факелом он выставлял ручку перед собой, от чего лица впереди сидящих девочек трогала совершеннейшая брезгливость.

– Так не грызи ее, а пиши ею! – припечатывала стол Калдаева.

Все это напоминало скорее детский класс, нежели занятие с абитуриентами, если бы не вульгарные школьницы впереди.

Квас на Калдаеву не злился, говорил, что хорошо бы с ней выпить, но не предлагал, будучи уверенным в том, что она потребляет исключительно шмурдяк, а сам он признавал только водку. На чем основывалась его знание – неизвестно. Но Калдаева и, правда, отличалась похмельной грустью лица.

Потом, вернувшись в село, я встречал ее в нашей церквушке, бьющей поклоны перед старинной иконой Николая Угодника. Выглядела она точно так же, как и на подготовительных курсах.

Сильнее всего я нервничал на коллоквиумах, которые всегда писал хуже Кваса. Это злило, доканывало меня. Ведь большую часть контрольной Квас суровыми взглядами рас-

стреливал давно небеленный потолок, а потом, за пятнадцать-двадцать минут до конца, с видом только что свихнувшегося писателя, начинал быстро-быстро ваять на мятых листах. И всегда получал «отлично».

Метод Кваса так раззадорил меня, что вместо решения собственных задач я под конец сдачи проверял его листы, стараясь понять, где он хитрит. Хитрости не было, сколько я ни цеплялся к вечно мятым влажным листам. Но доверие мое уменьшалось, и все чаще внутри клочкотало непонимание.

Квас на подозрения не обижался. Напрягся он только один раз, когда я, выпив много, а закусив мало, булькая хмельным негодованием, заявил, что его родители башляют учителям.

Недели две Квас не общался со мной. Без содержимого красной сумки я стух и на радость Киреевой отвечал у доски в прежней нервно-ипохондрической манере. Извинения Квас принял лишь с третьего или четвертого раза. Я говорил долго, слезно, а он глядел куда-то в сторону, пока не перебил:

– Это ладно, верю, но ответить за базар надо.

– В смысле? – растерялся я.

– Что тебе доверять можно, что ты понял, – хрустнул колпачком Квас.

– Хорошо, – как часто согласие бывает неискренним, – я готов. Что делать?

– Точно готов?

– Точно.

– Хорошо, тогда слушай. Нетопыря ловят ночью...

## 5

Нетопыря ловят ночью. И я должен помочь в его поимке. Чтобы загладить вину. Так сказал Квас.

Просьба его казалась игрой, забавой, и я согласился, но существовала проблема: из дома меня отпускали максимум до одиннадцати вечера. Под весьма солидные поводы. А тут – сердцевина ночи. И ни одного повода.

Сказать Квасу об этом я, безусловно, не мог. Боялся, что засмеет. Он был другим – свободным, бесстрашным. Его не связывали ограничения: внешние, внутренние. А я всегда чего-то боялся. Тесных автобусов. Близко сидящих одноклассниц. Узких переулков. Хамовитых продавщиц. Рычащих собак. Потому я так и тянулся к Квасу. К Пете Майчуку. К таким, как они. К заменителям выщербленного условностями себя.

– Сходняк ночью, у водоема, – говорил Квас, допивая «Крымское светлое». – Ты хоть знаешь, что Джим Моррисон, Йен Кертис, Джон Бонэм – все они были нетопырями?

Мне, наверное, стоило признаться, что не знаю, да и не верю, но я промолчал. Как это часто бывает, когда хочешь понравиться. Квас был моим единственным другом. Без него я бы окончательно превратился в отщепенца, от которого ша-

рахаётся даже Таня Матковская. Надо было идти.

Бабушка, закутываясь в байковые одеяла, спала на веранде у входа. Ночью она часто вставала, чтобы выпить дигоксин или тенорик. Спала бабушка чутко.

Мама же устраивалась на ночь в маленькой комнатке, большую часть которой занимала сложенная из глиняных кирпичей русская печка. Пользоваться ей, набивая углем и дровами, перестали, кажется, года три назад, когда установили газовый котел. На него мама заняла денег у коллег. Отдавали натужно и долго.

Еще один угол занимал киот с иконами. Под ним – застеленный черным сукном стол, где мама и бабушка держали святую воду, просфоры и стаканы с пшеном, из которых торчали свечи. Обязательно восковые. Потому что пахнут особенно, благостно, умиротворяюще. Зажги, и свеча будет благоухать, а не чадить.

Еще была мамина кровать. Скрипучая, хлипкая, как и постеленный тридцать лет назад деревянный пол. Идти по нему к выходу, минуя маму и бабушку, значит погубить ночное бегство из дома.

Потому был лишь один вариант отправиться на поимку нетопыря – через окно. Благо, что дом одноэтажный.

Мама вроде бы никогда не заходила ко мне ночью. Только желала приятных снов. Можно было попытаться сбежать и вернуться к утру.

Плохо, что дверь из маминой в мою комнату отсутствова-

ла. Ее заменяла шторка, подвешенная на «крокодилычки». Задернуть с вечера, мол, собираюсь учиться, и чтобы свет маме в глаза не светил – так и оставить. А самому – в окно.

Вечером, после того, как мама и бабушка пожелали мне спокойной ночи, я не выключил свет. Изображая учебу, стал листать книги по русскому языку. Не зря, потому что мама зашла еще раз, сказала, чтобы не напрягался, а быстрее ложился спать.

Я кивнул, но просидел еще час. Правда, уже с «Опавшими листьями» Розанова, чтение которого мне посоветовала Маргарита Сергеевна.

В половину первого я выключил свет. Подошел к шторке. Мама похрапывала. Бабушка не шла за лекарством. Я потушил свет, лег на кровать, намеренно громко скрипнув пружинами. Вновь обождал. Аккуратно встал, подошел к окну. Надел спрятанные за раскидным креслом джинсы, свитер, куртку. Распахнул окно и вылез на улицу, рядом с поставленными на скамье ведрами. Пригибаясь, как вор, засеменил к металлической калитке.

Квас ждал на остановке, под соснами. Не такими, как в горном Крыму: там они вытянутые, куполообразные, похожие на лампочки, а здесь – приземистые, с разлапистыми грибными шляпками крон.

– Здорово, Бес. – Недавно Квас откуда-то узнал мою школьную кличку. Сперва я обижался, но он довольно легко убедил меня, что так даже солиднее. – Полчаса жду, а ты где-

то ходишь...

Полчаса он, конечно, не ждал, но я все равно начал оправдываться:

– Ждал, когда мама уснет. По-другому вырваться не получилось бы...

– Ну да, предки, предки...

– А твои как? Спокойно?

Квас напрягся, тряхнул космами, которые всегда зачесывал под Курта Кобейна – хотел отрастить и бородку, но не получалось, сколько бы он ни брил детский пушок, надеясь превратить его в мужскую щетину, – сменил тему:

– К встрече с нетопырем готов?

– Всегда готов. Приманивать чем будем?

– Его не надо приманивать. – Квас подмигнул. – Он сам придет. Главное – идти навстречу. Хотя...

– Что хотя?

– Можно, конечно, водкой. У тебя есть?

– У меня-то нет, но у тебя должна быть.

– Угадал, Бес. – Он сбросил на землю красную спортивную сумку, открыл, достал бутылку водки. – Заодно, давай, накатим для смелости...

Мы выпили из горла. Закусить было нечем. Водка отдавала даже не спиртом, а ацетоном. Я шумно, глубоко задышал. Лицо Кваса не изменилось.

– Хорошо, что накатили. Нетопырь почувствует в нас своих, хотя, – он упаковал водку в сумку, – может, и приревнов-

вать. Ничего, мы ему под нос пузырь сунем...

– Странно, как для летучей мыши.

– Что за мышь?

– Ну, нетопырь этот...

Квас замер, пошарил в кармане, вытащил ручку, сунул в рот.

– Какая на хер летучая мышь? Ты ебнулся, что ли? – Я поморщился. Маты всегда раздражали, казались чужеродными паразитами, засевшими в теле русского языка. – Ты что, не знаешь, кто такой нетопырь?!

– Ты не рассказывал...

Глаза его стали пыточно-раскаленными. Он вперился в меня ими, зажав нижнюю губу крупными, лошадиными зубами.

– Так, Бесик, – уменьшительно-ласкательный суффикс Квас использовал, когда был недоволен мной, – тогда растолкуй мне, какого хера ты двинул со мной? Или, по-твоему, нетопыря поймать как два пальца?

Истинной причины я, конечно, сказать Квасу не мог.

– Интересно.

– Не интересно, а любопытно.

– Пускай так.

– А любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Или забыл? А нетопырь тебе еще и хуй оторвет, если голодный будет. Не шутики, бля, шутим...

Оборвав фразу, Квас зашагал вдоль безмолвной дороги.

Идти за ним не хотелось. Резало это его «хуй оторвет». Да и мама могла зайти в комнату, обнаружить, что меня нет, и впасть в валидольную истерику. Тем более, что Квас вел себя как сельский дурачок, рассказывающий глупенькие страшилки у потухающего костра. Но вопреки собственному желанию я зашагал следом, позволив себе только один вопрос, хотя надо было задать еще два десятка:

– Так куда мы идем?

– Идем навстречу. К сельскому клубу. – Квас повернулся и, пугая уж совсем как ребенок, прошептал: – Там озеро подходящее.

Когда я был маленьким, каштановский сельский клуб выглядел масштабно, эпично. С фасада он не казался особо массивным, зато цветной герб над металлическими дверями отличался вычурной лепкой, а ступени отделали мрамором. По бокам у клуба было три выхода, к которым вели кипарисовые аллеи с клумбами роз. Отсюда он казался гигантским. Размер задавали колонны, подпирающие массивный свод, и высокие широкие, как из средневековых храмов, окна. С задней стороны на расстоянии нескольких метров отделенное узкой асфальтированной дорожкой примыкало озеро с живописно нависающими над тогда еще чистой водой ивами. Под ними, развалившись, закидывали удочки рыбаки.

Каштановский сельский клуб, несмотря на эклектику названия, впечатление производил солидное, претенциозное даже. И, когда я в первый раз оказался в нем, совсем малень-

кий, на референдуме, мне чудилось, что я попал в древний величественный храм, а низенький плешивый человек, ораторствующий за длинным столом, накрытым красным сукном, виделся мне исполином, служителем высших сил...

Но сейчас в вяжущем мраке ночи – ночь в деревне особенно непроглядна: нет ни работающих фонарей, ни сверкающих вывесок, потушен свет в окнах приземистых хат – клуб больше походил на заброшенный амбар. Металлические двери сменили на деревянные, давно некрашенные, с одной торчащей доской, которую все никак не решались приколотить. Герб облупился, рассыпался по крупицам – остался лишь красный след.

Подходя к этому по-стариковски больному зданию, вспоминаю песню «Короля и Шута» «Проклятый старый дом». Сначала в голове личинкой засекает мелодия, а после она трансформируется в навязчивого песенного червя: «В заросшем парке стоит старинный дом. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, но тут же раздался ужасный голос во мгле...»

Квас сосредоточен. Идем молча, так близко друг к другу, что его рюкзак при ходьбе бьется мне о плечо. Рисованный Курт Кобейн целует мою руку.

– Обойдем и пойдем к озеру, – говорит Квас.

Согласно киваю.

– Так, стой, – тормозит Квас, – ведь жопой чувствую, у тебя есть вопросы.

Они и, правда, есть, распирают изнутри, точно те сомнительные беляши из магарачинской «Астры», после которых мне промывали ромашкой желудок.

– Есть, но давай без мата.

– Базара нет, – «зуб дает» Квас. – Хочешь знать про нетопыря?

Единственное, что я хочу – это ничего не хотеть. Но, кивнув, соглашаюсь на историю нетопырей.

Они, говорит Квас, перекатывая в руке сорванные с кипариса ароматные шишки, не летучие мыши, а конченные заблудшие алкаши, чей внутренний мир под «белкой» превратился в мир внешний. Образы, которые видели бухари, оказались настолько реальны, что визуализировались и стали явью для остальных. Они как бы ворвались из алкоголического бреда в наш мир. Что-то типа монстров, пролезающих из параллельной действительности. С галлюцинациями алкобасов та же история. Они плодят реальных демонов, самый мерзкий из которых – Водянка. Она формируется где-то под ключицей, разрастается, крепнет и проникает в мозг, со временем полностью заменяя его. Поэтому у бухарей бледно-голубые глаза. Это и есть Водянка.

Большинство конченных умирают с ней от болезней. Или погибают по дурости. Под колесами. В сугробе. От ножа. Тем же, кому не повезло, Водянка внушает свои мысли, желания. Тогда конченные идут в самый мутный, грязный водоем, какой есть поблизости, и топятся, насильно глотая воду. Ле-

жат на дне сорок дней, превращаясь в нетопырей. А после всплывают, распухшие, синюшные, жуткие. Вылезают на берег, ища, что бы съесть. Далеко от водоема они не отползают; их навсегда привязывала вода. Поэтому жрут они, в основном, отходы и падаль, а если повезет – кошек, собак и птиц. Но больше всего любят младенцев.

Квас говорил все это на фоне забальзамированного трупа клуба в болезненном свете луны. Антураж точно выдернули из грошового фильма ужасов, где решили не тратиться ни на актеров, ни на режиссера, ни на сценарий. Чистое любительство, чистый хардкор.

И все же в рассказе Кваса было нечто такое, что заставляло если не верить, то сомневаться. Не знаю, влияла ли на это атмосфера или та детская непоколебимость, с которой он живописал нетопырей, но эффект был действительный, ощутимый, с морозцем и пупырышками на коже.

– А для чего нам нетопырь?

– Тебе – не знаю, а мне дядю спасти.

– От чего?

– От Водянки! Жрет его, падла!

Обходим клуб справа. Фигурные окна заложены ракушечным камнем, похожим на формовые буханки хлеба. Подпирающие свод колонны облупились. Стены исписаны углем и краской; фразы идиотские в своей нелепости. Ступени завалены мусором, выделяется рваное кресло с вывернутыми пружинами. Запустение, упадок, разруха.

Пространство вокруг клуба – болото призрачных сосен. Протяни руку – утонет в чем-то мглистом и вязком.

Квас дышит хрипло, шагает пружинисто. Глядя на волосы, спадающие ему на плечи, мне вдруг думается: «А что если весь этот бред про нетопырей – правда, и он знает больше, чем я?» И сколько бы я ни гнал этот вопрос логичными, здоровыми аргументами, он по-хозяйски обосновывается внутри, не уходит.

Мы у задней стены клуба, обтянутой красной заградительной лентой – не пересекай черту. Наверное, потому, что сыпется штукатурка. Не убьет, но покалечить может. Правда, лента уже на земле. Как мертвый дождевой червь. С озера, превращающегося в болото, тянет затхлостью, сыростью. Так пахнет компостная яма.

Квас прикладывает палец к губам, «молчи», указывает направление. Мы идем к разросшимся кустам, прчемся за ними. Квас устраивается так, чтобы видеть озеро.

Утомительное, яйцесводящее ожидание, но вот – бульканье, тихое, едва различимое. «А вдруг он знает больше, чем я?» Замечаю, что мои пальцы трясутся. Квас поворачивается ко мне, делает лицо из серии «а я тебе говорил».

Вновь бульканье. Уже более отчетливое, явное. Хочу домой!

Третье бултых в закупоренном ночью сосуде молчания звучит почти оглушительно. Квас достает из рюкзака водку, свинчивает крышку, как промоутер с пробником перед ме-

стом продажи, машет бутылкой, распространяя ацетоновый запах. Иди сюда, иди, нетопырь...

Шорох сзади. Оборачиваюсь, дергая головой. Темнота. Из нее выбивается освещенный лунной прямоугольник задней стены клуба. Что со мной? Брежу ли я?

Но ведь бабушка верит в нечистую силу. И мама верит. Хорошо, пусть это все дурь, но есть же наука – физика и такое понятие как флуктуация. Значит, сохраняется шанс, что нетопыри существуют. Тогда, что я делаю здесь? Для чего ставлю этот бездарный эксперимент?

Хочу уйти. Кладу Квасу на плечо руку. Он сбрасывает, показывает «не сейчас». Но когда же? Достает из рюкзака – зеленый Кобейн в лунном свете напоминает призрака – водяной пистолет, книжечку и странную сетку, похожую на те, что используют для укладки волос, только из стальных прутьев. Ладонью показывает – вперед.

Квас идет пригнувшись, я же ползу на четвереньках. Берег озера топкий, поросший высокой травой. У нее длинные продолговатые стрелы листьев. Из травы доносится невнятное хлюпанье речи. Хватаю Кваса за штанину, тяну назад. Он будто не замечает, вытягивается в полный рост, кричит: – Гойда! Гойда!

Гойда? Что за хрень? Может, я не вылез из окна своего дома? Может, уснул, начитавшись Розанова? Но на влажной траве холодно так, что морозной дрожью пробирает внутренние органы – явь.

– А, Бесик, вставай, это не нетопырь – это обычный упырь...

У берега озера, матерясь и шатаясь, натягивает штаны мужик в сдвинутой на затылок кепке. Он, видимо, пьян. Рядом валяется клетчатая сумка, из тех, с которыми челноки ездили за товаром в Турцию.

– Убью, суки! – наконец разбираю слова мужика, и мне жадется послать его к черту, искусному в дьявольских пытках, чтобы не страшал, не шарахал людей. Послать весь этот дурной сумасшедший вечер.

– Да пошел ты, пиздюк! – ору я, выплескивая страх, сублимированный в ярость. – Пошел ты!

И швыряю в алкаша липким комком грязи.

– Валим, Бес, валим!

– Да пошел он! Мудак! Алкаш ебаный! Напугал!

Все-таки слушаюсь Кваса, ухожу.

На остановке допиваем остатки водки. Моя куртка запачкалась, руки липкие, грязные. Я отчаянно злюсь. Из-за того, что пошел охотиться на нетопыря. Но больше всего из-за того, что боялся всерьез.

– Значит, Бесик, не дано тебе видеть нетопырей, раз не нашли. – Квас швыряет бутылку в канаву. – Не дано! Ну и хер с ним! Без тебя выловлю...

И не прощаясь он, словно обидевшись, уходит, закинув сумку за спину.

– Эй, стой, стой! – кричу я вдогонку.

Он отмахивается, но потом все-таки останавливается:

– Чего тебе?

– Ты скажи честно, без шуток, – слова выходят чугунами, – нетопыри существуют?

Он хмыкает так громко, что кажется, будто грузовик выстрелами из выхлопной трубы пробивает дыры в озоновом слое:

– Дурак ты, Бесик. Дурак и Фома!

## 6

Из абитуриентов подготовительных групп я общался лишь с Квасом. Но после охоты на нетопыря он пропал. Где Квас жил, я не знал. Мобильного телефона у него не было. Я остался один, в изоляции. И мне пришлось общаться с другими. Например, с Таней Матковской.

От нее я узнал, что на курсах существует две подготовительные группы, в одной учатся три «маковых» наркомана, в другой – педераст, у нас же самый подозрительный – Квас. Последнее я хотел опровергнуть, защитить друга, но возражения, изначально выходявшие чахлыми, вяли окончательно, когда я вспоминал о нетопыре.

Таня же и пригласила меня на неформальный сбор групп в честь Восьмого марта. Заявилось около тридцати человек, и она с помощью мамы заказала пять столиков на дискотеке «Старый замок». Место выбирали, исходя из того, что ехали

со всех сел: Песчаного, Солнечного, Углового, Берегового, Ленино, Табачного, Фруктового, Магарача.

На месте «Старого замка» раньше была площадка, засаженная ореховыми деревьями. Стволы росли могучие, крепкие, а вот плоды – негодные, гнилые.

Летом, когда Франция обыгрывала Италию в финале чемпионата Европы благодаря голам Вильтора и Трезеге, деревья уничтожил пожар; случайно или их подожгли специально – не знаю, но обгоревшие остатки выкопали, и образовался пустырь.

Вскоре на нем появилась будка, сложенная из ракушечника. Маленькая, узкая, похожая на сортир. Затем еще одна. Так крымские татары, возвратившиеся из Турции и Узбекистана, очерчивали территорию для своих домов. Будки лепили тесно, близко друг к другу, наспех, даже не скрепляя пористый ракушечный камень цементным раствором.

После их, наверное, разобрали, и из освободившегося ракушечника сложили одно здание, в котором сначала, завесив стены баннерами с Бартезом и Роналдиньо, воткнув на крышу спутниковую тарелку, организовали спортбар «Аматер», где чаще всего болели за сборную Турции, а затем, под Новый год, переоборудовали его в дискотеку.

Я добирался туда рейсовым автобусом. Можно, конечно, было пойти пешком, но боялся заляпаться придорожной грязью.

Отпускали меня не с боем – с войной. Договариваться с

мамой и бабушкой я начал за две недели заранее. Канючить день, канючить второй, канючить на завтрак, канючить на ужин – неделю я таранил просьбами и упреками баррикады домашнего затворничества. И наконец – чудо! – меня отпустили. Правда, с условием быть не позже одиннадцати.

День перед посещением «Старого замка» я помню сумбурно, отрывочно – словно командами из дневника.

Начать приготовления с утра. Надеть черные стретчевые джинсы и голубую пайту со священным числом «36». Приснуть больше дезодоранта, пусть белые разводы и портят одежду. Нанести гель – смыть. Вновь нанести. И вновь смыть. Светлый чуб в сторону. Или треугольником вверх.

Быть недовольным собой. Обнулиться, переиначить. Фыркать, наспех моясь в бане. Переодеться в ту же одежду, так же поставить чуб. Надушиться, чтобы переть ароматной стеной.

Оказаться на дорожном кольце, увидеть «Старый замок», но не идти, зная, что остается больше, чем час до начала встречи. Оглядываясь, чтобы никто не увидел, посетить магазин «Гирей», купить бутылку светлого пива «Фараон». Выйти, быстро опрокинуть ее в себя за недостроенным баром. Пить обязательно залпом, чтобы быстрее вдарило.

Шататься по заваленной листьями площади с памятником Ленину, металлический нос которого стал зеленым, вступив в реакцию с влагой и воздухом.

Вернуться на кольцо. Купить и выпить светлого пива «Фа-

раон» уже прямо у входа. И наконец идти в «Старый замок».

# Как цветок тля

## 1

У входа в «Старый замок» – «фейсконтроль». Это слово черным маркером выведено на листе А4, приклеенном к двери скотчем. Рядом синей шариковой ручкой приписано – «и дрескод». Контролируют «фейсконтроль и дрескод» три кряжистых татарина: своих, улыбаясь, пропускают, таких, как я, досматривают, иногда щупают, презрительно, нехотя. Это первый эшелон обороны.

Второй – выжатая блондинка с узкими глазенками и широкими полномочиями, лицо хмурое, со следами пережитых страстей. Собирает по десятке за вход. Взамен красной купюры с портретом Мазепы штампует фосфоресцирующую метку на руку.

В предбаннике основного помещения несколько треснувших – замок, видимо, действительно старый – зеркал, у которых вертятся аляповатые девицы. Пахнут дешево, агрессивно – смесью освежителя «Хвойный» и духов “Gevangi”, которыми торгуют на стихийных рынках цыгане. В основном помещении этот запах теряется, смешиваясь с табачным дымом и сигнальными выбросами потовых желез.

Главный ажиотаж – у шеста, где под Мадонну залихватски выплясывают набравшиеся принесенным из дома самогоном и купленным для отвода глаз пивом девицы. Они лезут на вертикальную сталь, отталкивая друг друга локтями, коленями, задницами, пробуют вертеться, упражняясь в предположительно эротических па. Им улюлюкают, хлопают красно-бурые парни с коротко стриженными головами, на которых оставлены торчащие чубчики. Заправляет происходящим нацепивший парик из новогодних дождиков говорун, выкрикивающий в микрофон незамысловатые конструкции вроде «эге-гей, «Старый замок», «а ну веселей» или «с Восемь марта, девчонки, оторвитесь сегодня». Ему, похоже, верят, потому что отрыв идет, головы теряются на ура.

Встречаю Таню Матковскую. Тянет меня за столики, где сидят наши. Тараторит быстро, язвительно – хорошая замена Андрею Малахову в «Большой стирке».

Садись, садись, не задерживай! Кто эти люди? Наши! Все? Почти, какая разница? Ты садись, пей, у меня дел вагон! Хорошо, только закажу себе пиво! Да-да, о, Надя, сюда-сюда!

Забыв обо мне, Таня машет рукой каланче в белом платье. В наглом свете дискотеки оно просвечивается, но нижнее белье выглядит не сексуальным, а наоборот, отталкивающе нелепым.

Я хочу заказать себе пива, но надо бы познакомиться с теми, с кем мне быть за одним цвета топленого молока столиком.

– Аркадий. Аркадий. Аркадий.

Протягиваю руку. Жму руки. И в этот момент, наверное, всегда бываю смешон. Впрочем, это дело напивное. Поэтому надо идти к барной стойке.

Мне пиво. Вам какое? То, что дешевле. «Черноморское»?  
Пойдет.

Возвращаюсь обратно за столик. Две девушки болтают о прокладках. «Белла» дешевле, но «Олвейз» качественнее, хотя и то и другое – дрянь; лучше – тряпочки, ха-ха-ха. Девушки как бы секретничают, но так громко перекрикивают музыку, что слышно и мне.

– Выпьем! – грохочет пузан в полосатой бело-зеленой рубашке.

Несколько человек тянут бокалы. Один, с раскрасневшимися ушами, настойчиво лезет с рюмкой.

– А что надо сказать? – Пузан из рода застольных весельчаков. – Респект!

Это слово он тянет на манер комментаторов, объявляющих рестлеров. Через несколько его потягушек я устаю респектовать. Еще пара респектов, пара глотков – и начну говорить с девушками о прокладках.

Но этого не происходит, потому что на танцполе я замечаю ее. И хочу не отводить взгляда, чтобы ублажать, тешить глаза. «And please, say to me, you'll let me hold your hand».

Сначала мне нравятся ее ноги; очаровывают, пленяют. Обычно ведь говорят что-то в духе: длинные, стройные, эф-

фектные, но тут дело не в этом – они крепкие, точно у легкоатлетки, бегающей марафон. И передвигаются механически точно, уверенно и вместе с тем грациозно, изящно. Амурные ноги, подарок или издевка Эроса. Такие, что непривычно волевым усилием я беру рыжего соседа, который до этого минут тридцать возмущался, почему я не танцую, хотя сам наверняка принадлежит к касте дрочеров, и, заставляя смотреть, говорю:

– Вот с этой девушкой я бы потанцевал!

– С кем? – не понимает рыжий, и вопрос его выглядит святотатством.

Звучит бойкое “I wanna be if you wanna be”, и моя с крепкими ногами танцует рядом с четырьмя девчонками. Видимо, они изображают – вольно или невольно – “Spice girls”. Из них я знаю лишь Джерри Холливелл, но моя скорее похожа на мулатку, которая и поет, и в клипах рисуется меньше других.

Я люблюсь ею, наши идут танцевать, оставляя после себя пустые бутылки. Хотя самое время выпить, отметить чудное мгновенье. Трясу бутылками, тщетно надеясь найти остатки. И официантка не подходит.

Покачиваясь, встаю из-за стола. Нащупываю в кармане мятые купюры. Надо бы прикинуть, сколько денег осталось, но я не прикидываю, конечно. Второе мое столь сильное опьянение в жизни. Хотя сколько там этой жизни было?

– Пятьдесят грамм водки, пожалуйста.

– Думаю, тебе хватит, – чеканит бармен.

Его движения больше не кажутся мне вальяжными, плавными. Теперь они резкие, грубые, да и сам он как будто из дерева. Тушуюсь, вновь мямлю что-то о пятидесяти граммах. Он машет чурбаном – маленькие уши торчат, как сучки, – крепкой головы. Нельзя, значит. Но пиво-то можно? Судя по тому, что он цедит его, пуская облако пены, в пластиковый стакан – можно. Разобрались, ура! Первый глоток, второй, третий – хорошо после респектовой водки. Приваливаюсь к стене, расплзаясь толстушкой, снявшей корсет.

– Э, пива дай, на, глотнуть, на!

Ко мне обращается парень в небесно-голубой футболке с округлой красной надписью “СИТРОЕН”. Знакомое сочетание цветов, букв. В такой бегал Мостовой. И Карпин. И Мазиньо. И Хуанфран. Они били, пасовали, делали подкаты. Вот, что они делали. Следовательно, они футболисты.

На парне – футболка клуба «Сельта» из Виго. Недавно канал ICTV показывал, как она обыгрывала «Севилью» из Андалусии, родины Дон Кихота. И визгливый комментатор – ему бы на бойне работать – кричал: «Алекс Мостовой!»

Собственно, из-за Александра Мостового – ну и Валерия Карпина – я и смотрел матч, дождавшись полуночи. Чемпионат Испании по футболу ICTV показывал каждую субботу, но я обычно не выдерживал – засыпал. А тут дождался – и все сошлось: и «Сельта» выиграла, и Мостовой забил, и Карпин пас отдал, и даже навязчивая реклама из прыгающих

букв в левом нижнем углу «Лучше гор – только Златогор» раздражала умеренно.

– Угощайся, – протягиваю парню пиво.

– Дякую, братан.

Глотки он делает крупные, частые. Надо бы его попросить развернуться, увидеть, какой номер у него на спине. Вдруг «десятка» или «восьмерка».

– Вы танцуете?

Что за вопрос? Здесь, наверное, все танцуют. Кроме меня. Ну и еще этого парня в футболке «Сельты».

– Простите, вы танцуете?

Вопрос громче, навязчивее, рядом со мной. И задает его – парাপарам, марш священных слонов по телу – моя из “Spice girls”, с крепкими, точно у легкоатлетки, ногами.

Как в дурной молодежной кинокомедии, поворачиваюсь вправо, влево, назад, будто зарядку делаю. И наконец хриплю:

– Вы мне?

– Вам, вам, – она улыбается. – Танцуете?

Как там в «Хоббите»? Третий раз за все платит. Раздражать ее тугодумством не стоит. Изобразить решительного умника, героически выдавить:

– Да, да...

И выйти танцевать, оставив парню из «Сельты» пластиковый бокал с пивом.

Есть две песни, под которые танцуют первые «медляки» –

“Don’t speak” и “Still loving you”. Мой приходится на вторую. Клаус Майне вкрадчиво поет о любви, а я отдавливаю Раде – наконец у мечты появилось имя – крепкие ноги. Рука сползает по талии вниз, но не от одолевающей меня похоти, а от накатившей – перенервничал – вялости. Рада то ли не хочет поправлять, то ли сочувствует мне. А рука, держащая ее руку, потеет, и я периодически отнимаю ее, чтобы проветрить. Колоколами – “hells bells” – звенит мысль: «Спрашивай ее что-нибудь...»

Какие-то слова все-таки вылетают. Есть даже фразы, несвязные, глупые, но фразы. Рада отвечает с неизменной улыбкой. Тут же забываю сказанное ею, и, как это часто бывает со мной в моменты паники, ледяными клещами выкручивает мошонку. Грех, конечно, молиться в таком случае, но я прошу Господа, чтобы не рухнуть в обморок.

Едва танец заканчивается, разворачиваюсь, не прощаясь, выбегаю из «Старого замка» – ретируюсь, слушая, как грохот дискотеки переходит сначала в гул трассы, а после в стрекотание сверчков. Бегу, опаздывая, домой, и спешка помогает забыть позор уродливого подобия танца с Радой.

Мама, почему ты не отдала меня на танцы? Почему не заставляла развивать координацию движений? Почему не поощряла занятия спортом? Для чего я столько читал? Для чего мне прочитанные книги, когда с ее отдавленных ног смеялись все, даже Клаус Майне?

Да, нацисты были правы, когда сжигали книги. От них од-

но зло. Они заставляют думать, включают внутренний диалог. Лучше – организовать тысячу танцевальных школ по всей стране. Но в Германии нацисты не сделали этого. Может, в том числе и поэтому они проиграли.

## 2

Вспоминаю наше знакомство с Радой прежде, чем звонить ей. В нервных, въедливых деталях, переживая ту встречу вновь так подробно и ярко, что не слышу, как, подытоживая выступление Головачева и Новокрещенцева, завершая учебный день, раздается звонок. Быстро набиваю рюкзак “Nirvana” учебниками и тетрадями, репетирую приглашение на свидание, хочу скорее уйти, но Валентина Дмитриевна просит меня задержаться.

Остаемся с ней вдвоем в кабинете. Она листает классный журнал, диктует мои оценки.

У нее интеллигентное лицо, обрамленное кудрями, выкрашенными в насыщенный каштановый цвет, изысканные манеры. Весь ее облик, манера держаться так контрастирует с запахом навоза со двора, с плесенью кабинетных углов, с ветхостью учебников, парт, стен, пособий, что она кажется породистой сукой, оказавшейся в собачьем приемнике в стае бродячих псин – не выбраться, не смириться. И самое мерзкое – за непохожесть ее ненавидят. За то, что она пытается жить честно.

Раньше она преподавала в Горловке. Муж работал на заводе «Стинол». А потом Валентина Дмитриевна оказалась в Каштанах. Ее сразу назначили директором. Остальные учителя заговорщицки переглядывались, ухмылялись, вздыхали – «городская приехала».

Я узнал все это от родной тетки Ольги Филаретовны, работающей в школе завучем и ненавидящей Валентину Дмитриевну по личностным и карьерным причинам.

– Ну что, Аркадий, куда решил поступать?

Глаза у Валентины Дмитриевны миндалевидные, чуть раскосые.

– Пока думаю.

– А что с медицинским?

– Уже нет.

От перспективы декламировать клятву Гиппократата я, действительно, отказался, а новую мечту, пусть краткосрочную, так и не смог отыскать.

– А ведь ты так прекрасно географию знаешь...

Дальше следует эпический, хоть и слегка затянутый, как вступление к “November gain”, монолог о радостях географического будущего. О конференциях и экспедициях. О вулканах и водопадах. О нефти и газе. Наконец, о том, как грешно зарывать свой талант в землю. Фразу «грешно зарывать талант в землю» Валентина Дмитриевна особенно любит и вставляет ее едва ли ни в каждое предложение, и я, правда, начинаю чувствовать себя грешником, которого от ада отде-

ляет лишь самая хрупкая вещь на свете – жизнь; один кирпич, один литр масла на рельсы – и ускорение на highway to hell обеспечено.

– Понимаю, Валентина Дмитриевна, но родители не хотят...

– Я могу поговорить с Марией Филаретовной, – лишний раз убеждаюсь, что звучание имени и отчества мамы не соответствуют ее облику, – она поймет...

– Вы уже говорили, Валентина Дмитриевна, помните?

Она и, правда, беседовала с мамой, специально придя к нам домой. Они сели в кухне на голубых кособоких стульях за столом, покрытым старой, в ножевых порезах клеенкой. Пили чай с мятой, ели галетное печенье «Мария», которое обмазывали персиковым вареньем, извлеченным по случаю из кладовки. Наверное, им было тепло и душевно. Валентина Дмитриевна рассказывала обо мне в географии и географии во мне, убеждала. Но мама не соглашалась. Куда устриваться? Чем зарабатывать?

Ездить по миру, исследовать, преподавать. Валентина Дмитриевна, искренне – спасибо ей за это – переживавшая за меня, была убедительна, эмоциональна. Но мама не хотела географа в доме.

Хотел ли я? Вновь, как и в случае с поступлением в медицинский университет, я рефлексировал, сомневался, при этом с легкостью принимая решения за других, увещевая их напутствиями и раздавая, как леденцы детям, советы, но за

себя определиться не мог. Впрочем, может, именно поэтому я и сам требовал решений за себя от чужих. Чтобы, например, мама четко, безвозвратно, как лопотка отрезала, назвала вуз и специальность, которой мне стоит учиться. Я бы с легкостью согласился. Пусть и, может, страдал потом, но зато сейчас я избавился бы от удавки ответственности.

Но мама – гены, гены – терзалась и блуждала сама. Она ждала конкретики от меня, но при этом воспринимала будто младенца, требующего опеки и заботы, и оттого подсознательно сомневалась в любом моем решении. Мы баловались чудаковатой формой пинг-понга, где каждый перебивал шарик ответственности на чужую сторону, но так, чтобы ни в коем случае не забить гол.

Говоря с мамой на кухне, Валентина Дмитриевна должна была переубеждать и меня. И у нас не осталось бы ни единого шанса возразить ей. Припечатать очевидностью – вот что должна была сделать Валентина Дмитриевна. Скажи она: «Аркадий обязан пойти на географический, потому что он любит, знает этот предмет, а заниматься надо, я говорю вам как человек поживший, тем, в чем действительно имеешь талант», – мы бы покорились ей. Хотя бы потому, что в детстве самым ценным предметом в доме для меня был офицерский атлас, огромный, массивный, похожий на строительную плитку. Не знаю, откуда он взялся, но лежал на запыленном шкафу, рядом с иконами. Маленьким я вставал на стул, чтобы спустить атлас вниз, и листать, листать.

В средних же классах школы, когда я, насмотревшись на Курта Кобейна и Виктора Цоя, решил стать рок-звездой, он тешил фантазию. Чертя синими, красными, зелеными карандашами, я прокладывал на картах маршруты будущих звездных турне.

Мюнхен – Аугсбург – Штутгарт – Нюрнберг – Майнц – Висбаден – Кельн – Менхенгладбаг – Дюссельдорф – Дортмунд.

Лилль – Руан – Париж – Труа – Нанси – Страсбург – Лион – Тулон – Марсель – Монпелье – Тулуза – Бордо – Нант.

Каракас – Джорджтаун – Парамарибо – Богота – Лима – Ла-Пас – Бразилиа – Асунсьон – Буэнос-Айрес – Монтевидео – Сантьяго.

Я катался бы, феерил на рок-шоу, пока не умер бы от передозировки. И фанатки бы рыдали, и носили бы цветы на мою могилу. Ведь «звезда рок-н-ролла должна умереть, без прикола...».

Но тогда Валентина Дмитриевна не нашла аргументов, таранящих цитадель бессоновских, шкаринских фобий, поэтому ее монолог неизбежно разделили на ноль. Не найдет она их и сейчас. Конечно, я пообещаю подумать, да, мы еще побеседуем, но это лишь орнамент, узор, без несущего материала он бесполезен. Географом мне не быть, Валентина Дмитриевна, отпустите...

Выхожу на двор школы, разделенный зелеными линиями кипарисов, тополей и платанов на прямоугольные секторы.

Сворачиваю за угол, иду туда, где четыре алычовых дерева создают тень и дают урожай из сине-багровых и ярко-желтых плодов, которые почему-то никто не рвет; они зреют, падают, гниют, оставляя жужжащие сладострастными мухами блямбы. Здесь собираются те, кто смахивает на славян.

Татары же кучкуются с другого угла школы, в беседке рядом с пустырем. Алычи там нет, зато есть приличные скамейки. Но скоро они освободятся, потому что татарам обещали построить отдельную школу.

Подхожу к одноклассникам. Майчук сидит на скамейке, у него на коленях – Люба Петрушкина с самой, как говорят, лучшей среди старшекласниц грудью. Впрочем, судить об этом я буду, когда Петя – он обещал мне это в брошенном амбаре пьяным от «Каховского» коньяка – продемонстрирует ее фото.

– О, а вот и Бесик, – гнусавит Цапля, Лиза Цаплина, тощая и настолько длинная, словно родители боялись, что она не вырастет, а потому, растягивая, подвешивали ее на турнике и, видимо, перестарались.

– Курить будешь? На – кури!

Петя отрывается от коленки Петрушкиной, лезет в карман, протягивает металлический портсигар сигарилл «Аль Капоне». Ловлю завистливый взгляд Лехи Новокрещенцева. Он вообще из тех, кто взглядами изъясняется лучше, чем словами.

Подкуриваю от бензиновой зажигалки Вадика Головаче-

ва. Ничто человеческое баптистам не чуждо.

– Ну ты, красава, сегодня, Бес, – хлопает меня по плечу кучерявый чернявый Артур Тлисов, – вот тут у нас буровая установка...

Он пародирует меня, сбиваясь на фальцет, который прорывается, когда я волнуюсь. Все ржут. Но по-доброму. А вот Цапля, предлагавшая мне две недели назад встретиться, хихикает, кажется, зло.

Жду, когда все разойдутся, дабы позвонить Раде. Сам я, по обыкновению, уйти из компании не могу.

– Ты это, – смахнув Петрушкину с колена, из точки А в точку Б, встает Петя, – давай приходи ко мне – на вечерину. Отрепетируем выпускной. К семи подгребай, и девку свою бери. – Он подмигивает, глаза делаются бесстыжими, как у Люцифера, сорвавшего куш из человеческих душ.

Не спрашиваю его, откуда он знает про Раду. Не стоит швыряться риторическими вопросами. В деревне все про всех знают.

### 3

После танца с Радой я боялся ходить на подготовительные курсы. Отсиживался дома. Мысль о том, что я могу столкнуться с ней в коридоре, увидеть при свете, а главное – она увидит меня, лихорадкой приковывала к кровати.

Во вторник, когда резко похолодало, как всегда случалось

у нас в середине марта, и студеное утро полезло с улицы в дом, мама, заметив испарину на моем лице, сунула градусник мне под мышку. Оказалось тридцать восемь и три.

Бабушка охнула. Мама всплакнула – мои хвори она всегда принимала за вселенскую трагедию – и оставила меня дома, наказав полоскать горло фурацилином, промывать нос солевым раствором и вливать в себя горячее питье, лучше всего малину или черную смородину. За исполнением указаний должна была следить бабушка.

К середине дня она, видимо, перестаралась. Перина, на которую меня уложили, промокла, став, точно стираная, а я, обезвоженный, побледнел и поплыл. Лишь после этого бабушка, распахнув окна, пустила воздух. Стало легче.

Она так пристально опекала меня, что делать приятное – те радости, коими обычно тешатся, когда болеют: сон, телевизор, книги, безделье – не получалось. Я был один на один с образом Рады, и Клаус Майне вкрадчиво шептал “Time, it needs time to win back your love again”.

В среду я также остался дома, но, к счастью, смог подружиться с кайфом безделья. Бабушка, напуганная вчерашним усердием, заходила ко мне только по зову и ничего, хотя на ее лице читалось непреодолимое желание, не навязывала. Меня отдали на растерзание каналу СТС, который я обычно смотрел лишь днем, после школы, а тут удалось деградировать прямо с утра. Шли в основном повторы сериалов – «Бухта Доусона», «Бeverли Хиллз», «Квантовый скачок», «Чудеса

науки», – но с учетом пропущенного вчерашнего дня это было весьма кстати.

Я воодушевился настолько, что отправил бабушку в магазин – купить продукты для любимых хот-догов. Получив ингредиенты, встал, прошел в кухню, под переживания – вербальные и невербальные – бабушки включил покрытую слоем липкого жира печку «Харьков», засунул туда булочку, разогрел. Достал ее, разрезал, смазал кетчупом, майонезом, горчицей (жаль, что была только с зернами), положил в желто-розовую массу теплую аллергического цвета сосиску, расплавленный на сковороде сыр, но после запаниковал, не найдя в столе с вечно отваливающейся дверкой, повисшей на расшатанной навеске с торчащими шурупами, которые было все некому закрутить, бабушкиных квашеных огурцов. На поиски ушло десяток неестественно долгих минут и сотня квадратных сантиметров желудка, уничтоженных выделенным в предвкушении чревоугодия соком. Когда же наконец я капитулировал, бабушка принесла из кладовки банку с фирменными огурцами. Я нарезал их длинными полосками и, окаймляя сосиску, с пиететом разложил внутри булочки.

Тупое жевание хот-догов уничтожало воспоминания, переживания о Раде.

Вернувшись с работы, мама сначала получила у бабушки детальный отчет о моих действиях, после сунула градусник, потрогала лоб, проверила горло, нос и постановила, что утром я иду в школу, а затем – на подготовительные курсы.

Идти вечером на занятия, чтобы вжиматься в стены, пытаясь сохранять незаметность, лишь бы не встретиться с Радой – нет, легче было бы запереть себя в «Железной деже». Поэтому, выйдя в Песчаном, вместо курсов я отправился на пляж.

Бетонированный пирс, изъеденный солью волн, пустовал. Работало лишь несколько палаток, и расхристанный мужик, безвольно свесив руки, дрых на скамейке. Я спустился к морю, растирая подошвами мелкий влажный песок, оставляя на нем рельефный след. Резким йодированным запахом отмечались бурые водоросли, выброшенные на берег.

В очередной раз до изнеможения я принялся мотать эпизод нашего знакомства с Радой. Хотел повторить его вновь, учтя предыдущие ошибки. Да, я не стал бы озираться, будто сельский дурачок, удивляться, пунцовать, нервничать, топтать ноги. Нет, определенно, я был бы спокоен, уверен в себе. И галантен. И очарователен. И монументален. Что там еще полагается?

Так вместо занятий неделями я шлялся по пляжу, прокручивая варианты поведения с Радой, пока на остановке не наткнулся на Таню Матковскую. Мышиное лицо ее пришло в движение, засуетилось, и черты без того хаотичные – возможно, Бог, создавая ее, просто швырнул нос, брови, глаза, губы – окончательно утратили порядок.

– Ты куда делся, Бессонов? Тебя один человек хочет видеть...

Она вцепилась мне в руку. Потащила к песчановской школе. Я хотел вырваться, но Таня держала крепко. Как собачонку, она подтащила меня к входу в школу, и в этот момент из дверей вышла Рада. Улыбнулась Тане. После заметила меня:

– А, тот самый Аркадий. Ну давай, что ли, пройдемся...

Она сказала это так естественно, просто, словно встреча наша была запланированной. Таня расцепила хватку, – пост сдал, пост принял – и под новым конвоем я поплыл по школьному двору.

Если правда, что в состоянии комы человек наблюдает за собой со стороны, то на второй встрече с Радой я пребывал в коме. У ржавеющих турников, теребя браслетик “Nirvana”, я исподлобья, стесняясь, разглядывал смуглую с подвижными чертами лица девушку: ярко-красные губы, кудрявые, будто завитки лапши «Мивина», черные кудри, темно-карие глаза. Похожа на татарку. Или на цыганку. Но не на русскую, точно. Общаясь с ней, я даже принохивался, вспоминая риторику деда, утверждавшего, что татарские женщины специфически пахнут.

Но запаха не было – только страх и слова, вспыхивавшие огненными буквами, складывавшиеся в пылающие предложения. Огонь распространялся, подбирался ко мне, оцепеневшему от власти женщины.

После нашей второй встречи я пробовал стать буддистом в отношениях с Радой. Не спорить, не проявлять инициативы, не раздражаться, не желать – и не будет обид, терзаний, разочарований.

Но достичь равновесия я не мог. Каждая наша встреча – они стали регулярными – обдавала жаром, и я дрожал, отводя глаза, дабы не показывать смущение, страх. Когда же Рады не было рядом, я терзался мыслью, что вскоре мне предстоит поцеловать ее. По-настоящему, не в щеку, не так, как она целовала меня при встрече, наливая капилляры кровью. Нет, я должен буду целовать ее умеючи, мастерски, как знаток и ценитель. Как долбаный мачо.

Конечно, я целовался до этого. Пять, шесть, может быть, семь раз – пьяные воспоминания путались – при игре в «бутылочку». Брать меня в нее стали благодаря Пете. Когда горлышко указывало в мою сторону, я вставал на четвереньки и подбирался к жертве, вытягивал губы трубочкой, лез целоваться, просовывая язык как можно дальше и вращая им, точно перемешивая ингредиенты миксером. Ощущений не было. Лишь много, много слюны. Но это не в счет. Это даже не тренировка. А вот теперь предстоит решающая игра.

Вычитав идиотский, всесоврамши совет, я начал тренироваться на помидорах. Свежие еще не выросли, хотя надо бы-

ло упражняться на них, поэтому одну за другой я вскрывал банки с консервацией, доставал плоды и впивался в них так, что шаленел от уксусной кислоты маринада. Еще раздражал перец. Черные горошины проваливались в желудок, оставляя неприятный шлейф горечи. Часто после этого у меня начиналась отрыжка, переходившая в изжогу, которой так мучился перед смертью дед. И его стоны «ууу, печет, ууу, дурно мне» снова зазвучали во мне.

Я штудировал книги о любви, выбирать которые мне помогала Маргарита Сергеевна. После моего интереса к кабале она прониклась ко мне не просто дежурной симпатией, а странной, близкой к патологии увлеченностью. Правда, сначала она подсовывала сомнительные книжицы вроде «Мечь еврея», которые начинались интригующе: «Стоял чудный солнечный день. Еврей выехал на охоту». Дальше маховик фантазии автора с польской бздящей фамилией раскручивался, и нефритовый стержень пронзал разгоряченное лоно. Я же алкал точных советов по управлению женщиной, потому требовал серьезные книги. Маргарита Сергеевна смотрела взволнованно, теребила массивное серебряное кольцо на большом пальце и шла в подсобку, возвращаясь с ветхой, как правило, обклеенной скотчем книгой.

Толстой, Стендаль, Лермонтов, Кьеркегор, Бунин. Эти авторы препарировали любовь, и она мучилась, терзалась на столах гениальных патологоанатомов. Муки были тем чудовищнее от того, что гении молчали о практической стороне

вопроса.

– Маргарита Сергеевна, – злой, взволнованный, а потому готовый быть откровенным суетился я, – мне нужна конкретика!

– Ну так, Аркаша, это все опыт, – улыбалась Маргарита Сергеевна. – Сама жизнь научит...

И я опять убеждался в бесполезности книг, нуждаясь в конкретном практическом руководстве. Особенно тогда, когда Рада вместо стандартной прогулки по набережной вручила мне сложенный вчетверо лист, который надушила так, что даже спрятанный в рюкзак он терроризировал пассажиров рейсового автобуса навязчивым терпким ароматом. Я развернул послание дома, за сараем с дровами и при свете пузатого фонаря с лампой на весь бок и встроенным радио – незаменимая вещь при регулярных отключениях света – читал, пропитываясь парфюмом.

Рада писала грамотные вещи. О том, что мы уже не дети и пора переходить к более серьезным отношениям, а не ходить будто первоклассники, держась за руки. О том, что мне хватит вертеть головой при встречах. О том, что необходимо больше узнать друг о друге.

Я и, правда, знал о ней чуть больше, чем о случайном попутчике в транспорте. Только внешность. Крепкие ноги, смуглая кожа, черные кучерявые волосы, темно-карие глаза, высокая грудь, подчеркиваемая ремешками и поясами. Тело из тех, которые принято называть точеными. Броский мани-

кюр, редкого для села густо-сиреневого цвета. Из недостатков – едва заметные, пугливые в своем появлении усики над верхней губой, которые, возможно, со временем, когда она располнеет, превратившись в тумбообразную матрону, станут отпугивающими усищами.

Да, я тянулся к Раде, как тянутся к эффектным девушкам пубертаты, но общение с ней было тускло, неинтересно, пусто. Музыка, передачи, уроки, учителя, деревня – темы для обсуждения банальны, скупы. Да и музыку она слушала другую. Передачи смотрела иные. А книг вообще не читала. Будь она парнем, я назвал бы ее самым непривлекательным человеком в округе, но, к несчастью, у нее были притягивающие крепкие ноги.

В письме она писала железобетонные вещи. Перейти к более серьезным, взрослым отношениям. Узнать друг друга лучше. Быть мужественнее и увереннее. Набор обязательных банальностей, самых точных вещей на свете. Жаль только, она молчала о том, как реализовать, применить ее пожелания. И оттого, читая ее письмо, я столь болезненно испытывал собственное одиночество, от которого так старательно отбивался все старшие классы, забивая голову, тело, досуг безделицами.

Мне нужно было действие, яркое, решительное. Такое, на которое я был не способен. И вдруг мне повезло.

Кто-то – спасибо ему за это – оставил на сиденье автобуса мужской журнал. На обложке загорелый парень, блестя-

щий от глянца и масла, демонстрировал рельефные кубики на животе. Содержание – в том же ферромонистом духе: чем живет Сильвио Берлускони, как быстро накачать пресс, для чего Брэду Питту Дженнифер Энистон, много пошлого юмора, очень много обнаженных и полуобнаженных девиц. Но во всей этой информационной воронке была одна ценность – статья «Как устроить девушке крышеснос», написанная известным пикапером, чье фото – разжиревший самодовольный мужик, похожий на провинциального участкового, откормленного пугливой женой и заботливой мамкой, – прилагалось.

«Крышеснос – сюрприз, совершаемый парнем для погружения девушки в состояние некоего транса, ускоряющего процесс соблазнения». Изучив пикаперские инструкции, я разработал свой крышеснос, памятуя о надухаренном письме Рады.

## 5

Сегодня в школу я не иду. Готовлюсь к свиданию с Радой. Тщательно, продуманно, наверняка. Но из хаты, конечно, выхожу. Чтобы мама с бабушкой не заподозрили в прогулах. Тетради, учебники, ручки – в рюкзак. Немного – для вида. А вот приготовленных мамой бутербродов с вареной колбасой беру с запасом. Много ходить по селу, еще больше нервничать – два фактора, заставляющих есть больше обыч-

ного.

Выхожу из дома, иду вдоль главной трассы, мимо одноэтажных бело-синих домов и развалин бывшего АТП, возле которого на жухлой траве скелетами древних стальных мамонтов ржавеют комбайны, грузовики, прицепы. Стекла выбиты, шины спущены, салоны выпотрошены. Днем в них редко, но играют дети.

Мы с братом тоже вертелись здесь, облюбовав ГАЗ с длинным кузовом и прямоугольной кабиной с неподвижным рулем и торчащими из приборной доски проводами. Витя чаще всего держался за руль, а я, схватив припрятанную для таких случаев доску, отстреливался от воображаемой погони. Мы были налетчиками, ограбившими банк.

За этим занятием мы проводили все выходные, забывая вернуться домой и получая нагоняи от мам. Или приходили в вечер буднего дня; я строго после выполненных уроков, а Витя когда хотел, хотя чаще всего он крутился возле меня, смотрел телевизор и препирался с бабушкой.

А потом наши игры в ограбление прекратились. Вите – я то мог бы отстреливаться и сейчас – стало неинтересно, он повзрослел. И сначала оборвались наши встречи в ГАЗе, а затем и встречи вообще.

Часто, проходя АТП, я останавливаюсь возле грузовика. Стою, держусь за массивный бампер с ржавыми залысынами отшелушившейся краски. Думаю, вспоминаю те дни, рефлексирую, бередя себя так, что ухожу разочарованный, кис-

лый. Мысли стесняют веригами, давят к земле. Мысли о том, что как руль в салоне не вертится, так и нам ничего не вернуть. И дело не в месте и способе встречи, а в тот чутком единении, когда оба верили, что доска может быть автоматом, а пули могут лететь, избавляя от общих врагов. А теперь что? Стрелять друг в друга?

С этими мыслями я обычно прохожу серое здание пустующего универмага. Большинство теперь закупается на рынке, он тут же, рядом, или в металлических шестигранниках ларьков, где стригут, ремонтируют, торгуют продуктами, инструментом, химией, лекарствами, семенами. Но я сам хожу за покупками в универмаг, чувствую с ним родство. Он, как и я, вырван из этой ларечной жизни. И самое мерзкое – не по своей воле.

Но сегодня мне надо гнать эти мысли. Сегодня надо быть мужчиной, который все может. В частности, крышесносить Раду.

Через сосновую лесопосадку захожу в покосившиеся ворота стадиона «Спартак». Бетонные трибуны, ярусами нависающие над землей, используются как отхожее место. Так активно, что непонятно, как пробираются к стенам трибун те, кто чертит на них странные в своей бессмысленности надписи вроде «Коля – фрик моржовый» или «Аня хабалка и давалка». Больше других умиляют слова и предложения, выведенные белым штрихом, аккуратно, округло, точно ребенок писал; злой ребенок, судя по содержанию.

Несмотря на вонь, подняться на трибуну, сесть в центре – здесь мне нравится больше всего – и, переживая хождения людей на работу, учебу, еще раз проговорить план крышесноса, отмечая ключевые моменты в тетради для русского языка. Тут главное – символика, неожиданность, романтика.

За символизм будет отвечать дерево. Большой символ представить можно, но незачем. Дерево любви, которое мы посадим на холме с видом на море. Остается его найти. Сначала я хотел выкопать одно из тех, что растет у нас на огороде. Но мама или бабушка, уверен, обязательно бы заметили, начались бы расспросы, подозрения, разрастающиеся нелепыми, жуткими версиями, масштабу которых до черноты завидовал бы автор криминальной хроники в «желтой» газетенке. Поэтому я решил выкопать невысокое стройное деревце, растущее на заднем дворе школы.

Дожидаюсь, когда начинается пятый урок. Десять минут от звонка. Покидаю «спартаковские» трибуны. Миную баптистскую церковь – одноэтажный кирпичный сарайчик, у входа в который висит табличка «Дом молитвы», крыша настелена битым шифером. Однажды мне стало интересно – хотя, скорее, я мстил бабушке за излишнюю религиозную настойчивость и радикальное привитие догмами, – что там у них происходит, и, проходя мимо, спросил, казалось, измученную вечной бессонницей женщину в ситцевом платке: «Когда у вас начинается служба?» Взгляд ее был одинок, за туманен – теленок, которого мы держали до смерти деда, жуя

целлофановые пакеты, смотрел точно так же. Говорила она тихо, с надрывом, будто внутренние спайки после операций растягивались и болели.

– Собрание в девять часов.

Видимо, никто не служил – лишь собирался. И я не пошел в баптистскую церковь.

В школу я прихожу к середине пятого урока. Физкультуры на улице нет. По вторникам физрук пьет в подсобке, зажав голову между ободранными локтями влажных распаренных рук. Ученики еще не слишком измучены, чтобы, не слушая преподавателя, пялиться в окна, но и не слишком бодры, чтобы вертеть головами, зондируя обстановку.

Иду по колючему бурьяну. Забор в школе есть лишь со стороны дороги; видимо, чтобы, проезжая, не думали, как хреново мы в Каштанах живем – нормально живем, чего уж там, не жалуемся, да и кому тут, будьте вы городские и районные твари прокляты, пожалуешься. Нераспаханная, поросшая бурьяном местность с полной мусора ямой переходит в задний двор школы.

Давно некрашенные, с пятнами ржавчины турники, брусья, лабиринты, рамы в своей беспорядочности расположения и форме напоминают сваленные в груду выпотрошенные кишки, которые я, когда дед убивал и разделявал свинью, рассовывал по пакетам в сарае, чтобы потом сварить курам и покрошить в комбикорм. На площадке пусто. Под раскидистым кленом мутнеет годами не исчезающая овальная лужа.

Из нее торчит бело-зеленый пакет мусора.

Мое дерево растет дальше, нужно обогнуть турники и пройти за ободранный угол школы. Вот оно. Хоть в мыслях и казалось мне больше, зеленее, стройнее.

Достаю из рюкзака специально взятый мастерок – лопата бы насторожила, – копаю землю, стараясь не повредить корни, похожие на паучьи лапки, которые не уходят, а скорее липнут к земле. Не оторвать. Приходится рубить краем мастерка. Наконец освобождаю ствол, закутываю его в тряпку.

Теперь уходить, но не слишком быстро, чтобы не решили, будто я скрываюсь, как вор. Хотя почему как?

Мысль эта останавливает, впечатывает. Ведь только что я украл! Не взял, не одолжил, а именно украл. Пусть деревце, пусть не у кого-то лично (впрочем, по сути, я забрал его сразу у сотни детей), но украл. И совершил грех бессознательно, не задумавшись ни на миг. Как в туалет сходил. Или перекусил купленной в «Огоньке» булкой.

Хотя с детства мне внушали, обрабатывали, чтобы не крал. Помню крики деда Филарета на моего отца, который нес из разваливающегося колхозного автопарка инструменты, крепеж, смазку и складировал это добро в гараже деда. К себе он нести его не решался, потому что моя тетка, Ольга Филаретовна, к которой он перебрался после встреч с матерью, могла все забрать себе.

Дед отца ненавидел. Но обструкцию устраивал редко. Лишь когда выпивал. А выпивал он пять или шесть раз в

год, стараясь употреблять то «Столичную» водку, то крымское пиво, то самодельное вино. Не пил он лишь самогонки, хотя несколько лет сам гнал ее. Не на продажу, а, наверное, потому, что все гнали. Дед был щедушный, молчаливый и добрый.

Тем страннее, что он так злился – вслух, громко, с позицией, точно говорил про татар, которых ненавидел, – когда отец приносил из автопарка «заимствованные» вещи.

– Зарплату не платят, а ты меня, старый козел, – кричал отец, – жизни учишь? Жить, ебана мать, на что?!

– Проживешь, Лешка, – отвечал дед, – а брать чужого не смей...

Отца он, конечно, так и не перевоспитал. Тот продолжал растаскивать колхозное имущество, до сих пор разложенное у нас в гараже: молотки, гвозди, зубила, отвертки, резиновые прокладки, медные провода, моторы.

Я спрашивал деда, почему он так ругает отца. Вор! Вор! Вор! Злился дед, а я отвечал услышанной по телевизору фразой «все воруют».

– Все, – соглашался дед, – ну и что? Бога в душе держать надо...

А я, заводясь, как часто бывало со мной в споре, доказывал, что, не воруя – не проживешь. Доказывал развлечения ради. И однажды я доканывал деда так долго, что он, подняв левую руку, не выдержал, спросил:

– Вишь, двух нет?

У него не было мизинца и безымянного пальца.

– Помню, дед, на станке тебе их оторвало.

– Брехня, – помотал головой дед, – скажу, но ты молчком.

– Я молчком.

– Принеси яблочко, Аркаша.

Я принес ему красное яблоко. Он принялся мять, жать его.

– Каленое больно, зубов жевать нет.

Он домял яблоко, укусил и, жуя, начал рассказ:

– Жили мы в Новоселкино, под Севском. Отца и старшего брата забрали на фронт, а меня двенадцатилетнего оставили. Школы закрыли, и я бегал с остальными пацанами по селу, искал еду, помогал матери. Пока не пришли фрицы.

Напротив меня, через улицу, жил Яшка, на год младше. Его отец, Абрам Савельич, был таким старым, немощным, что больше походил – так все и думали – на деда. Он держал мастерскую, где, сгорбившись, всегда что-то чинил, штопал, правил. Один глаз Абрама Савельича был прикрыт бельмом, а другой косил в сторону. Когда я встречался с ним, то боялся смотреть в лицо, хотя человеком он был отзывчивым, добрым и часто угощал детей круглыми, похожими на медальки, леденцами из жженого сахара.

Мать Яшки видели редко. Она, в основном, сидела дома. Говорили, что харкает кровью – болеет чахоткой. Я иногда видел ее во дворе их дома. Чаще всего с большим алюминиевым тазом, который она с видимым усилием ставила на де-

ревянную скамейку и стирала белье, развешивая его на протянутых вдоль кособокого сарая веревках.

Когда пришли фрицы, то семью Яшки арестовали. Штаб немцев располагался в кирпичном здании сельсовета, возле которого на площадь сгоняли сельчан. Начальником у фрицев был жирный, словно не война шла, краснорожий блондин с протезом вместо левой ноги ниже колена. Но его не боялись. Страшил зам – высокий, наголо бритый фриц со шрамом через все лицо. Вот его боялись по-настоящему. Он всегда и выступал перед собравшимися.

Тогда я тоже стоял на площади – обязали прийти всех, – испуганно уцепившись за костлявую ногу мамы, хотя давно считал себя бесстрашным и взрослым. Переводил фрица бородатый мужик в грязном тулупе. Накрапывал мелкий дождь, и без того размокшая площадь окончательно превращалась в жижу.

Яшка и его родители, голые, лежали в ней. А рядом старательно, точно школьник, выводил слова бритый фриц. И, казалось, чем больше он говорил, тем сильнее темнел его шрам. Из перевода я почти ничего не понял. Уловил лишь то, что семья Яшки – выродки и евреи. Одно следовало из другого, но я не помню, что из чего: то ли евреи, потому что выродки, то ли выродки, потому что евреи.

Затем семью Яшки подняли. Я вздрогнул. Мама закрыла мне ладонью глаза, но я уже и сам зажмурился, кода увидел тела, перепачканные кровью и грязью. Похожие скорее на

разделанные туши коров, которые я помогал грузить отцу на бойне, чем на людей. Рты были закрыты обрубками, примотанными колючей проволокой, шипы впивались в грязную кожу, раздирая ее в кровь.

Я жался к ноге матери и сдерживался, чтобы не описаться. Несмотря на зажмуренные глаза я видел окровавленные тела перед собой, помнил, что в паху Абрама Савельича алеет уродливая рана. И нечто внутри меня призывало: «Открой глаза! Посмотри, посмотри!» Ужас отвратителен. И притягателен. Может, еще больше, чем красота.

Злясь на себя, я все-таки приоткрывал глаза и сквозь мамины пальцы косился на площадь. Накинув на шею веревки, тела волокли по грязной жиже. Левое ухо Яшки висело на кровавых волокнах, похожих на дождевых червей. Когда тела изваляли в грязи, принялись бить ногами. Больше всех старался бритый фриц. Ему заметно нравилось. Тела изгибались в позвоночнике.

А потом – бородатый переводчик повторил это несколько раз своим низким гортанным голосом, после чего украдкой перекрестился – каждый должен был плюнуть в лежащих. Тех, кто откажется, крикнул переводчик, повесят вместе с жидами.

Никто не отказался. Плюнула в жидов и мать. Плюнула в сторону, стараясь не попасть в Абрама Савельича, Сару и Яшку. Я же закрыл глаза, сжимая веки так, что в голове загло, зашумело. Мысль помочь, спасти была насколько за-

кономерной, настолько и слабой, несмелой. Будто она сама себя опасалась, прячась в угол сознания. Первый раз я боялся за свою жизнь. И первый раз понимал, что она есть такое.

Их троих повесили на площади. Они болтались неделями. Проходя мимо, люди отворачивались. И фрицы, и русские. Потом трупы сняли. Остались лишь виселицы. И воспоминания.

Но мы все равно бегали у сельсовета, где фрицы глушили шнапс, чистили оружие, курили. Иногда они забывали сигареты. Тогда мы хватали их и мчались прочь. После махорки, которую до этого мы выпрашивали у наших солдат или воровали из дома, фрицевский табак казался истинной благодатью. Курили сигарету гурьбой. Но прежде чем задымить, становились в кружок и пускали по кругу, рассматривая, принюхиваясь. А еще больше хотелось, мечталось достать фрицевскую зажигалку – бензиновую, с фигурным пламенем. Все ребята хотели такую, а я, пожалуй, сильнее других.

Тогда я носил фрицам молоко, оставляя трехлитровую банку на проходной. Но в тот раз постовой, кажется, спал. Он стоял, привалившись к стене, сложив на автомате мохнатые ручищи, похожие на лапы животного: огромные, покрытые жесткими курчавыми волосами. Я рассматривал, изучал их досконально, словно жаждал узнать некий секрет. Потом наконец опустил банку и хотел было идти, но на высоком с глубокой трещиной пне заметил пачку сигарет. А рядом ле-

жала та самая зажигалка – металлическая, блестящая, пахнущая бензином, с колесиком и гравировкой. Мечта! Замерев, я любовался ею.

Фриц спал, каска его свалилась на лоб, переползая от шишковатого носа к до синевы выбритому подбородку. Это был скорее не немец – мадьяр.

Наша соседка, бабушка Груша, у которой фрицы отыскивали иконы и хотели вздернуть ее за это, но ограничились тем, что порубили лики Христа, Богородицы, Николая Угодника, советовала, чтобы мы избегали румын и мадьяр. «Немец, он не такой лютый, – шамкала бабушка Груша, – как мадьяр или румын, вот те нелюди истые». Приходя к нам домой, она, сидя у давно нетопленной печки, рассказывала, как была в Дебрецене и видела там мадьяр. Ироды, безбожники, нехристи! Смотрела на них и молилась Богородице, чтобы до нас не дошли. Видать, не услышала грешных молитв Богородица, наказала мадьярами, что колют младенцев прямо во чревах.

При виде спящего постового я невольно вспомнил слова бабушки Груши и захотел уйти. Но желание это соперничало с лютым вожделением зажигалки. Вот она – протяни руку, а после – беги, беги! И мечта твоя сбудется, и навсегда ты самый важный среди новоселкинских пацанов! Будто два человека с разными характерами, устремлениями перетягивали во мне канат. И победил тот, кто был яростнее, наглее, беспринципнее.

Я протянул руку и медленно положил пальцы с полумеся-

цами грязи под ногтями на сталь зажигалки. Холодная, суровая, важная. Погладил ее, чувствуя гравировку. Провел мизинцем по рельефной стали колесика, нежно, мечтательно. Надо было всего лишь сомкнуть пальцы, схватить зажигалку и бежать прочь – я понимал это, но не мог ничего поделать с убийственной растянутостью момента.

– Киндер!

Лет в шесть, наверное, Сашка Борзыкин, разозлившись, швырнул мне в спину насосный вал. Он ударил в лопатку и опрокинул на землю. Тупой пронзающей болью, но главное – неожиданностью. Крик, раздавшийся позади меня, оказался чем-то сродни удару вала. Я отдернул руку от зажигалки и почему-то рухнул на землю, обхватив голову руками.

Меня тут же саданули по пояснице. Я вспомнил, как таскали на площади Яшку, а потом вздернули на виселице. Вспомнил и обмочился. Рывком меня подняли на ноги. Их было двое. К проснувшемуся мадьяру добавился смуглый здоровяк с воспаленными красными глазами. Он тряс меня за плечи. Я болтался, как тряпичный, неживой.

Мадьяр несколько раз ткнул мохнатым пальцем в зажигалку. Что-то крикнул, но, в целом, вел себя не так яростно, как здоровяк. Тот перевернул меня, заломив руки. Мадьяр сгреб пачку и зажигалку. Отошел. Здоровяк повалил меня головой на освободившийся пень. Он не прекращал кричать, и, дуряя от ужаса, я как бы тонул в болоте.

«Хаун» – это слово чаще всего я слышал от здоровяка,

прижимавшего меня к пню щекой. Боковым зрением я увидел, как мадьяр поигрывает топором, точно примеряясь к удару. Наверное, я бы обмочился повторно, если бы было чем. Но внутри присутствовал лишь разъедающий необратимостью страх, отнимающий силу и обращающий в прах.

Мадьяр взвесил топор на руке и отошел. Весь я превратился в ожидание, оставляющее сотни морщин.

Закрыв глаза. Единственное движение, на которое оказался способен. Скрученные здоровяком руки выламывало ноющей болью, и она ползла вверх по сухожилиям, мышцам, пронзая плечи, переходя в шею. Извивающаяся змея, стремящаяся отравить, одурманить разум.

И вдруг еще один крик. Этот звучал по-другому. Уверенно, властно. Хватка ослабла. Я смог пошевелить руками.

– Вэйки!

Я встал на затекшие ноги. В дверном проеме серой глыбой нависал огромный белокурый мужчина, накинувший на эсэсовскую форму черный плащ. Я почему-то сразу решил, что это офицер. Он изрыгал крики, точно швырял во врагов гранаты. И врагами, я почувствовал это явно, были два фрица, которые собирались отрубить мне голову за попытку украсть зажигалку. Здоровяк молчал, угрюмо косясь на меня, а мадьяр, наоборот, эмоционально, с огромным количеством слюны и жестов, отбивался от «гранат» офицера. Периодически он тыкал в меня мохнатым пальцем и вертел зажигалкой.

Громкость криков офицера постепенно снижалась, и наконец он, как бы соглашаясь, закивал головой. Мадьяр еще эмоциональнее зажестичулировал. Офицер крикнул на здоровяка, и тот, просветлев, выкрутил мне правую руку. Мадьяр же схватил левую и положил на пень.

Офицер подошел. Лицо крупное, бледное, собранное, будто высеченное из мрамора. Он взял торчащий из влажной земли топор и, не примеряясь, быстро ударил по моей пятерне. Не знаю, метил ли он или бил наугад, но два обрубка – мизинца и безымянного пальца – остались на пне. Мадьяр и здоровяк тут же отпустили меня. Я вскочил, задыхающийся, шаленеющий от боли, а еще больше от вида крови, и заорал, выставив изуродованную руку перед собой. Мадьяр засмеялся. Здоровяк дал мне подзатыльник. А офицер молча развернулся и пошел прочь.

Я заметался, кропя землю кровью, и в этом, наверное, был особенный символизм. Мадьяр закурил, схватил палку и несколько раз ударил ею мне по голове, гоня прочь. Я, кажется, плюнул в него и побежал.

Кровь била из раны. Сначала ярко-красная, затем темная, и, мчась по улице, я решил, что умру. Мысли в голове перемешались, но одна была четкой и ясной – оказаться дома.

Меня поймали на углу Лесной улицы. Две женщины, несущие доски, увидели и бросились останавливать. Я сопротивлялся, отбрыкивался, кусался. Одна тут же бросила меня. Но другая, сбитая, крупная, с мужицкими руками, держала

крепко, не реагируя.

Они перевязали рану, обработав ее свекольным соком. И отвели домой.

– Вычухался я, – договорил дед и швырнул яблочный огрызок в канаву. – Жесточее с ворами надо...

Стоя с выкопанным деревом в руках, я вспоминаю историю деда, и воображение, гипертрофированное от чтения книг, на миг пуляет картинку физрука, выбегающего из школы с топором в руках. Оставить дерево. Так будет правильнее. Но мысль о том, что без этого свидание с Радой потеряет смысл, перевешивает, и все-таки я ухожу с деревом, завернув его в мокрую тряпочку. Прячу добычу на «Спартаке».

А затем приговариваю время, шляясь по Абрикосовому переулку. Дома здесь одноэтажные, неказистые. Двухэтажный только один, но в нем никто не живет. Отделанный по углам серой плиткой, он выкрашен в светло-красный. Шторы задернуты. За домом никто не ухаживает, не следит, не латает. Но своего внешнего вида он не меняет. Во дворе – сухие деревья, высокий бурьян, жуткие ржавые качели. Их видно с улицы. В деревне вообще все видно с улицы. Заборы низкие, поднял ногу – перемахнул.

Светло-красный дом опустел, когда я был совсем маленьким. Говорят, в нем доживала век старая бабка, работавшая при Брежневе ветеринаром. При Горбачеве ее выгнали из колхоза. И она возненавидела Михаила Сергеевича. Еще и потому, что любила водку, а при Горбачеве пить стало слож-

нее. Надо было вертеться, изгаляться, придумывать. Бабка же, говорят, была ленива.

Сначала она сидела на крыльце. Метила проклятиями в проходящих, проезжающих. Но все привыкли. Это ее бесило. И она пошла по селу, бомбардируя проклятиями. Люди терпели, жалели. И это разозлило ее еще больше. Она стала черная, как смола, и заперлась в доме. Рассказывают, что когда маленькие девочки слышали ее вопли, доносящиеся из светло-красного здания, то покрывались черными пятнами.

Соседи терпели ор, а после, не выдержав, застучались в двери, надеясь утихомирить. Но бабка не открывала. Со временем ее вопли перешли в завывания, точно раненый зверь попал в капкан.

Зимой на серой «Волге» с разбитой передней фарой к ней приехало двое: обрюзгший мужчина и молоденькая женщина. Они припарковали машину у раскидистого ореха. Поставили, покурили. И зашли в дом, чтобы пропасть навсегда.

Через неделю кто-то вызвал милицию. Приехал Сема Рогочий; сейчас больше похожий на похмельного бегемота, а тогда еще юный, стройный, белокурый. Он зашел в светло-красный дом и выскочил, говорят, уже полысевший.

Затем приезжали еще два десятка милиционеров. Другие ведомственные. Искали, рыли. Но хоронить – это в селе знают точно – никого не хоронили.

История, конечно, сумрачная, с душком, где на один факт, как на шампур, насажен пяток дурных баек. Но заходить

в светло-красный дом – никто не заходит. Вот он и стоит нетронутый, девственный в своей монументальной угрюмости.

Впрочем, весь Абрикосовый переулок – особенно ранней, чавкающей влажным снегом зимой – чудовищен. Похожий на набитую грязью и калом кишку с неперевавленными зернами, какие обычно бывают у куриц, он утыкается в заброшенную ферму. За ее бетонным забором, изрисованным угольными надписями и рисунками преимущественно генитальной тематики, еще пасутся несколько дистрофичных коров. Пасутся они всегда молча, будто нет сил, чтобы мычать. Фоном их молчаливому, покорному умиранию – обглоданные украинской независимостью скелеты развалившихся зданий. В дальнем конце фермы, у зеленого строительного вагончика, пошатываясь, бродит сторож – дядя Митя, который «когда трезв, то Муму и Герасим, а так он война и мир».

Он был другим, до развала Союза. Крепким, подтянутым, с подкрученными гусарскими усиками. Мы с дедом Филаретом приезжали к нему на ферму за колхозным зерном на стареньком «москвиче», в салоне которого вечно пахло солярой. Меня одевали в замызганные комбинезоны, которых я очень стеснялся. А от того, что никак не мог освоиться среди деревенских мужиков, я комплексовал еще больше. Суетился, пытался угодить деду, а он злился, потому что, мельтеша, я только вредил.

Зерно падало из металлической трубы на бетонный пол,

шебарша, как пчелиный рой. Люди ведрами насыпали его в мешки. Тащили на прямоугольные весы с грузиком на каретке и ругались за каждые десять грамм. У весов стоял дядя Митя. Он, видимо, уважал деда, потому что позволял ему больше других. И вообще вел себя, несмотря на разницу в возрасте, по-дружески.

А после на ферму ездить мы прекратили. Зерно покупали сначала в Бахчисарае, затем на бывшем винзаводе в открывшемся магазине «Корма». Ферму же тем временем растаскивали, грабили, ломая даже бетонные стены, чтобы вытащить из них арматуру.

Но дядю Митю я продолжал встречать. В «Огоньке», в полях, в канаве. Всегда сонный, он сначала лысел, а после худел, напоминая пойманную рыбу, которую, забыв снять с крючка, так и оставили подыхать.

Дяде Мите, наверное, ощутимо тягостно жить. И в этом мы схожи. Но мне семнадцать, и, может, все сложится, а у него уже все сложилось, не переиграть, не перестроить – точка, финал.

Я разглядываю ферму и мысленно шлю дяде Мите приветы. Так долго, что можно возвращаться домой, мандражируя перед крышесносным свиданием.

вается ее мольбами, чтобы я наконец-то поел. Неважно, кушал я перед этим или нет.

Потому что родился я чуть больше двух килограммов. Сначала мама терзалась, выживу ли я после родов, а затем изматывалась, так как я не хотел есть. Отворачивался, не сосал грудь, разрывавшуюся от молока. А мама с бабушкой бегали, суетились, переживали – намаялись, в общем.

Когда я подрос, ситуация не изменилась: губы смыкались, если поблизости была еда. Бабушке с мамой удавалось накормить меня лишь одним способом: завести будильник, поставить рядом, и когда он срабатывал, а я довольно открывал рот, превращаясь в нормального младенца, в меня закидывали еду. Я, психуя, отмахивался. Будильник ломался.

Но потом – случайно – вмешался отец.

После моего рождения он заходил к нам совсем редко. Только, чтобы хорошенько поесть. Пьяным на него всегда нападал жор. Сидя за столом, накрытым не меняющейся тридцать лет клеенкой, он, чавкая, выслушивал жалобы мамы на то, что Аркашенька совсем не ест. Видимо, она так достала его стенаниями, что, когда вышла, он взял кусок черного хлеба, макнул его в говяжий бульон – отец всегда любил рассказывать с подробностями – и, предварительно разжевав, пальцем сунул мне порцию в рот. И я начал есть.

Мама пришла, испугалась, закричала, когда увидела, чем меня кормят. Бросилась на отца. Возможно, даже несколько раз его шлепнула. Но потом замерла, сообразив, что я нако-

нец-таки ем. И стала кормить меня так же.

Я рос. Кабанел. Округлялся. И в первом классе выглядел среди детей-сверстников Гулливером. Меня дразнили, травили даже. Взрослый может пощадить – ребенок нет: добьет, растопчет.

В Севастополе, куда мы переехали, – мама нашла работу бухгалтером, считая, что в городе мне будет лучше, – когда я учился в пятом классе, в школе для одаренных детей легче не стало. Унижали, правда, меньше, но саморефлексия усилилась и отравляла сознание чудовищным самоедством. Иногда на переменах я впадал в почти летаргическое состояние, мечтая уйти из круга, сжимающегося вокруг меня и душащего безысходностью. Десятилетний пацан, мечтающий умереть, – абсолютный zeitgeist.

Помню, тогда мы носили форму: полосатые серо-черные бриджи и белые рубашки. В середине девяностых это было даже на пользу. Потому что деньги обесценились. Горками они валялись на столах и в шкафах. За десятки тысяч карбованцев продавали буханку хлеба, который регулярно заражался спорами картофельной палочки, и длиннющие, как в советское время, очереди стояли у магазинов местного бизнесмена Сергея Кондратовского, где хлеб стоил всего три тысячи. Вообще с едой были проблемы. Помню, дальняя родственница из Иркутска отправила нам в качестве матпомощи крупу, но та пока преодолела коллизии почты, спрессовалась и превратилась в нечто похожее на стройматериалы.

В одежде же разделение на богатых и бедных чувствовалось особенно сильно. А тут – форма, не отличить. Тем более покупали мы ее не за свой счет.

Спонсировал наш класс Дуардович. То ли Александр, то ли Алексей Давыдович. Пока не разорился, когда мы были в восьмом классе. Он жил в Москве. Там у него был свой бизнес. Какой – неизвестно. Впрочем, какой в девяностых мог быть бизнес?

Но родился Дуардович в Севастополе. Наверное, поэтому он организовал здесь лицейный класс, куда я и попал. Помимо углубленного изучения стандартных предметов, мы осваивали логику, психологию, этику, религиоведение, шахматы, танцы. Из нас растили ценные кадры, сверхчеловеков, которые после окончания школы пойдут на работу к Дуардовичу. Никто не возражал против таких перспектив. Определенность в то смутное, взбалмошное время, наоборот, радовала.

До сих пор не знаю, как мне удалось попасть в специализированный класс. Но думаю, что дело не только в моих способностях.

Учились мы не в здании школы, а в отдельном помещении, под которое оборудовали бывшие складские помещения. Сделали капитальный ремонт. Получилось три комнаты: коридор, игровая, классная. Плюс санузел. Шкафчик в коридоре у каждого был свой. В них мы и хранили форму.

В начале третьей четверти, вернувшись с каникул, я достал бриджи из шкафчика, чтобы переодеться. Вместе с

остальными мальчиками из класса. Рядом на ДСПешной скамье под ольху натягивал бриджи щуплый Гриша Кедрук. Его мама, Оксана Платоновна, гаркая по-капральски, привычно командовала процессом переодевания.

Она была дочкой Платона Кедрука, одного из самых богатых людей Севастополя, превратившего крупнейшее рыболовецкое предприятие Европы в фирму-банкрот. Дебет с кредитом не сошелся. Разница пошла на приобретение автомобилей, домов для Кедруков.

Позже Платон Семенович будет рулить севастопольским отделением партии «За единую Украину». И нам, одноклассникам его внука, раздадут сине-белые наклейки «За ЕдУ» с изображением ножа и вилки. С чувством радости, едва ли ни благодарности мы будем расклеивать сине-белые квадраты по городу, ощущая себя частью некой большой и веселой затеи. Добровольный подростковый труд: оказывается, его используют не только «Свидетели Иеговы».

Гриша натянул штаны быстро, а вот мои все никак не сходились. Я и так всегда управлялся с ними неловко, потому что, стесняясь своих толстых ляжек, прячась, использовал для переодевания хитромудрый способ, а тут шло совсем туго, хоть вазелином смазывай. Пришлось идти в туалет, любимое место для переодевания; особенно верхней части: ляшки пусть еще видят, а вот четыре полосы жира на брюхе, переходящие в женскую грудь, – увольте. Я разложил вещи на батарее, унитаза. Выдохнул, успокоился. И попытался натя-

нуть бриджи.

Паника как всегда зашевелилась сначала в мошонке, а затем поползла вверх, вдоль позвоночника. Господи, как я мог так растолстеть?! За две-то недели?! Как?! За что?! Неужели?!

Я плакал, а в дверь стучались:

– Все нормально, сынок?

– Да будьте вы прокляты с вашей жратвой!

– Открой, пожалуйста...

Я распахнул дверь и заорал, не видя лица:

– Хватит меня кормить! Хватит! Я жирный!

Истерично, бессвязно, так, что слышали все. И мама, обескураженная, стояла в дверном проеме. Ей было обидно. Очень обидно. Она плакала. Сухими слезами, этими застывшими гранулами страдания, которые куда болезненнее тех, что текут, размазываются по лицу.

– Дай я помогу. – Она зашла в туалет, дрожащими руками попыталась натянуть бриджи. Тщетно.

– Хватит кормить! Я жирный! – стонал я.

А в коридоре Оксана Платоновна сокрушалась, как похудел ее Гришенька. Бриджи болтались на нем, словно мешок из-под картошки. Он ел слишком мало, я – слишком много. Но бриджи мы перепутали.

Вот только пульсирующая мысль «я жирный, я жирный» никуда не ушла, когда мы разобрались, кому что надевать. Она въелась, осталась со мной. И хотелось умереть. Но у де-

сятилетних пацанов не остановится сердце. И вилку в горло они не воткнут. Поэтому им приходится жить, терпеть.

Я терпел до седьмого класса. До первых внеклассных танцев. Румба, самба, вальс, ча-ча-ча – самые ненавистные слова, преподавательница Виолетта Орлова – самый ненавистный человек того времени. На уроках танцев я обычно сидел в углу. Игнорировал. Но на общие танцы пришлось идти. Было бы легче, если бы я появился один. Но обязали прийти с родителями. И мама, расчесав меня на прямой – «сын булочника» – пробор, облачив в толстящую белую рубашку, нацепив дурацкую бабочку, была рядом.

Мы сидели с ней на диванчике, когда Маша Леонова, единственная девушка, которая со мной общалась и которой мог выдавливать в ответ слова я, проходя мимо, улыбнувшись, поглядела на меня и сказала:

– Какой красивый!

– Спасибо, Машенька, – ответила за меня мама.

И оттого пунцовые пятна обжигающими медузами покрыли мое лицо. Маша прошла и взяла под руку Костлявчика. Я вжался в черный диван с синтетической обивкой. Стараясь исчезнуть. Стараясь не быть.

Да, в тот вечер я истово захотел похудеть. И если Бог, которого я умолял об этом последний год, – Бог, что был для меня бумажными иконками, стоящими на грабовом шкафу в восточном углу комнаты – отказывался помогать, то я решил обратиться к его конкуренту. Бизнес есть бизнес. Никаких

контрактов с душою взамен. Только обещание дьяволу поху- деть. Стать таким же вытянутым, бледным, как Костлявчик. Так я впустил в себя бесов похудения.

Никаких изменений тогда, на диванчике, я не ощутил. Но летом, между седьмым и восьмым классами, перестал есть. Вообще. Моей суточной нормой стали два пакетика лапши быстрого приготовления и вода из-под крана. Ее я пил в со- седнем с футбольной площадкой дворе в перерывах между упражнениями – командными и одиночными – с мячом. Во- да отдавала хлоркой, но мне это даже нравилось, потому что терялось удовольствие от вкуса, а там, где он мертв, нет и тревоугодия.

На вторую неделю от хлористой воды и быстрой лапши у меня начались боли в животе. Резкие, колющие, как удары финкой. От желудочных спазмов я мог повалиться на поле, стирая колени в кровь о щебень, прямо во время футбольно- го матча. Сначала игроки злились, а после смеялись. И дали мне кличку Симулянт. Но я не ныл, не обижался – терпел. Бесы похудения выполняли свою работу.

Не учел я лишь одного фактора – мамы. Она готовила с вечера, а утром рассказывала, что мне есть в течение дня, но, возвращаясь вечером с работы в тесную кухню, где нуж- но было извиваться, чтобы протиснуться между шкафами, находила блюда нетронутыми.

Тогда мы жили в однокомнатной квартире на улице Ост- рякова. С жильем помогла единственная мамина подруга,

Зина Семенова. Мама предлагала ей денег, но та отказалась. Больше у нее подруг не было. Только знакомые из церковного хора в Каштанах.

Квартира оказалась симпатичной. С новой белой сантехникой в крошечной ванной комнате, отделанной бледно-розовой кафельной плиткой. Стиральная машинка и содержимое аккуратных шкафчиков достались нам от тети Зины. Правда, ванная, о которой я так мечтал, живя в деревне, была небольшой, сидячей, не вытянешься. Впрочем, после купальных процедур в деревне она казалась едва ли ни счастьем.

Баня в нашей каштановской хате располагалась в пристройке, сложенной из камней, мусора, кирпичей. Сырое, темное помещение с низким, давящим потолком. Вдоль левой стены тянулся деревянный стол, на котором лежали тазы, ведра, куски мыла, тряпки, мочалки, коробки со стиральным порошком. Справа на печке с ржавой дверкой стоял металлический бак. Чтобы помыться, нужно было разогреть в нем мутную с известняковым осадком воду. Нарубить дров, растопить печку. После чего принести таз с холодной водой, ковшики. И, пыша паром, вдыхая влагу, обливаться, стоя на деревянном поддоне. Все это превращало купание в сложный, напрягающий ритуал. И если летом он доставлял хоть какое-то удовольствие, то промозглой осенью и студеной зимой становился пыткой, когда, завернувшись в банный халат, распаренным, мокрым приходилось бежать через суро-

вую зябкость в теплую хату.

Так что ванную в квартире на Острякова я оценил быстро и научился получать удовольствие от купания, приспособившись закидывать ноги вверх, оперев их в теплый от горячего пара кафель.

Больше ванной мне нравилась лоджия. Десятка сантиметров, наверное, не хватало, чтобы поставить в ней раскладушку, но, когда мамы не было, я растягивался на полу и пялился в обветшалый потолок, отыскивая в пятнах отвалившейся штукатурки контуры стран, чаще всего находя Алжир, Новую Зеландию, Чили. В навесных шкафчиках хранилась консервация, и я особенно любил айвовые компоты и баклажановую икру.

Еще был узкий коридор с двумя продолговатыми шкафами, купленными за смешные, как говорила мама, деньги. И в коридоре, и в комнате, и в кухне стены были обклеены обоями с изображением березовой рощи. На деревянной подставке стоял дисковый телефон.

В школьные дни, примостившись на стульчике рядом, я, приложив к уху пахнущую предыдущими жильцами трубку, играл со своим единственным школьным приятелем Ромчиком в футболистов, как обычно играют в города. Впрочем, это скорее напоминало не подростковую игру, а последнюю битву, жестокое ристалище, где ни в коем случае нельзя было проиграть, уступить. Поэтому фамилии футболистов назывались, а порой выдумывались, до позднего вечера, пока

мама ни гнала меня на вечернюю молитву.

Я злился, но становился перед киотом, смиренный ледяной кротостью ее серо-голубых глаз. Мама молилась рядом, спрятав светлые волосы под неизменный бело-голубой платок Антония Печерского, привезенный ей из Киево-Печерской лавры. Но мне было не до молитвы. Вместо Богородицы, Иисуса Христа, Николая Угодника, Ефрема Сирина я думал о Бернаре Лама, Андрее Пятницком, Виталии Косовском, Даворе Шукере, Зазе Джанашии. И даже, укладываясь спать на разложенное кресло-диван, травмирующее спину пространствами между составными частями, я продолжал вспоминать футболистов, хотя, казалось бы, все они уже давно были названы.

Победителей в наших сражениях с Ромчиком никогда не было. Под конец мы чаще всего называли либо выдуманные фамилии, либо те, что уже говорили, поэтому все это действие логично заканчивалось спором, обидами и клятвами – знала бы мама, из-за каких мелочей я грешил, – никогда больше не разговаривать друг с другом. Но проходило максимум двое суток, и мы сходились в пантеоне футбольных божков и полубожков вновь, как два нищезанца, обреченных повторять ошибки снова и снова.

Играли мы в школьное время, потому что на все лето Ромчик уезжал в Андреевку. Купаться, есть черешню, персики и арбузы.

Наше общение с Ромчиком могло бы стать чудной иллю-

страцией к выражению «противоположности притягиваются». Я болел за московский «Спартак», он – за киевское «Динамо»; я – за «Хьюстон Рокетс», он – за «Чикаго Буллс». Мне нравились «Роллинги», а ему – «Битлы». Кажется, единственное, что нас объединяло – это безотцовщина.

При таких отношениях телефонная игра в футболистов оказывалась своего рода интеллигентной сублимацией мордобоя. И то, что притягивало нас с Ромчиком друг к другу, возможно, было уродливой, извращенной формой ненависти.

Но с годами, особенно первое время жизни в Киеве, я ностальгировал по игре в футболистов, хотел встречи с Ромчиком. И при этом мысль о нем рождала ненависть, ярость, на смену которой приходило тягучее, вязкое, беспросветное отчаяние, связанное почему-то с матерью. С ее экономностью, переходящей в скупость.

Когда я учился в седьмом классе, модными стали клетчатые шерстяные рубашки наподобие тех, что носили ковбои в вестернах. У всех мальчиков в классе были такие. Кроме меня.

Я редко просил у мамы купить что-нибудь, но тогда клетчатая рубашка превратилась для меня в страсть. Я выпрашивал ее слезно, упорно. И в четверг – до сих пор где-то валяется календарик с отмеченной мною датой – мы пошли в ателье на улице Геловани. Там располагался трехэтажный Дом быта, в нем постоянно снимали помещения. Арендаторы ме-

нялись стремительно: там, где располагался ремонт обуви или часов, вдруг появлялся салон быстрой фотографии или книжный магазин, которые в свою очередь сменялись канцтоварами или сувенирной лавкой. Но ателье на первом этаже было неизменно. Хотя я никогда не видел в нем посетителей.

Вот и тогда в ателье были только сотрудники.

– Мы хотели бы купить сыну рубашку, – по обыкновению тихо сказала мама, и женщина-медуза, орудующая портняжками ножницами, махнула ими в сторону. Даже не стала спрашивать, за какой именно рубашкой мы пришли. Тогда все покупали шерстяные клетчатые.

Рубашки висели в ряд, и мама сказала:

– Выбирай!

– Любую? – удивился я.

Она кивнула. Я хотел присмотреться, выбрать, но побоялся, что мама передумает, и, суетясь, второпях ткнул пальцем в черно-зеленую рубашку. Ткнул удачно – крупная клетка, некусачая шерсть.

– Уверен?

– Да!

И женщина-медуза отвлеклась, чтобы снять для меня рубашку. В ней я проходил седьмой, восьмой, девятый классы, а после хотел отдать деду, но он умер, и пришлось пустить ее на тряпки.

Пожалуй, это был единственный случай, когда я просил, а мама тратилась. Впрочем, на мне она старалась не экономить

– зато жестко урезала себя. Траты для нее были усилием, а траты бессмысленные – подвигом.

В тот вечер, вернувшись с футбола, я застал маму, сидящую за кухонным столом перед горкой крупных тыквенных семечек.

– Привет, – сказал я и сразу попытался уйти в комнату, чтобы выучить составы «Бастии» и «Монако».

– Постой. Подойди-ка сюда, – оборвала мое намерение мама. – Сядь.

Я нехотя сел. Принялся считать семечки, чтобы отвлечься.

– А ну-ка скажи мне, – мама двинулась телом, и кухонный стол заездил на ножках, под которые для равновесия были подложены свернутые осьмушкой газеты, – чем ты питаешься?

– В смысле?

– В смысле, что ты сегодня ел?

– Суп, котлеты из кролика, – я вспомнил утренние наставления.

Мама дернулась назад, бросив с досадой:

– Ну, что ты врешь, а? Суп целый, котлеты нетронутые. Что происходит, Аркаша? Ты ничего не ешь! Весь высох! Зачем ты себя гробишь?

Голос ее дрожал, то ли от строгости, то ли от переживаний, но даже если бы она плакала, я не смог бы разделить ее страданий. «Высох» – этот сладкий, как вата в Комсомоль-

ском парке, приговор ублажал меня, подтверждая, что бесы похудения работают качественно. Я был счастлив.

А мама портила мое счастье. Хотела отнять, забрать его. Потому долбила обвинениями, упреками, наставлениями есть, кушать, жрать. И воспринималась как враг.

– Не хочу жрать! Не буду! Будь ты проклята со своей едой!

– Аркаша, да что с тобой, сынок? Ну ведь надо же кушать! Ты же себя угробишь!

– Не буду! Отстань! – кричал я.

Мама меняла тактику – соглашалась, но спустя какое-то время наседала вновь. Мы, плача, спорили. Мама хваталась за бельевую веревку. Несколько раз хлестала меня ей как ремнем, и я вопил еще пронзительнее, а она заливалась валлокардином, осознавая, что приносит тому, ради кого живет, боль.

Я сдался, когда маме вызвали «скорую». Старый РАФ приехал, взвизгивая мигалками и тормозами. Остановился у мусорки, закрыв вечно смердящее пятно от вытекающих из урн отходов. Седой уставший врач зашел в коридор, обдав резким табачным запахом. Следом вплыла медсестра – молоденькая, но еще более уставшая, с темными мешками под осоловелыми глазами.

Они прошли в комнату. Расспросили маму, измерили давление, пульс. Поохали, достали аптечку, переругиваясь, сообщили, что надо вколоть лекарство, но на всех не хватает, поэтому только за деньги. Мама – слабая, бледная, расстро-

енная – вытянула руку. Край ее платья сполз вниз, обнажая красное родимое пятно на внутренней стороне локтя. Я, растолковав ее жест, спросил врача:

– Сколько?

Он назвал цену. Мама выдохнула. Я отсчитал деньги. Медсестра с заиндевевающим выражением лица разбила ампулу, набрала ее содержимое в шприц, вколола.

– Ей надо отдохнуть, завтра все будет хорошо, – не желая уходить, произнес врач в коридоре.

– Хорошо, спасибо вам огромное. – Я взялся за край двери.

Он вышел, гулко стуча каблуками. Из коридора пахло вонью кошачьей мочи. Послышалось мяуканье.

Соседка через квартиру напротив держала у себя кошек. Больше десятка, наверное. Впрочем, домашними тварями она не ограничивалась и подкармливала бродячих, расставляя по коридору миски, в качестве которых использовала коробки из-под масла «Рама». К ним стекались мяукающие твари, и подъезд все больше пропитывался монолитной вонью, проникающей в каждую щель здания.

– Аркаша, сынок, иди сюда...

– Иду, иду, мама. – Я зашел в комнату. – Как ты?

– Ты за меня не переживай. – Она провела холодной ладонью по моему лбу. – Главное, будь умницей...

И по измученному лицу потекли слезы. Мне надо было успокоить ее, ответить, и я, давясь словами, как рыбьим жи-

ром в детстве, прошептал:

– Все будет хорошо, мамочка, я начну есть, обещаю...

Почти сразу же она уснула. А я вышел на лоджию, включил свет. Хотел сначала читать «Спорт-экспресс», но, посмотрев на ночной двор, прилип взглядом к звездам и не мог оторваться.

Несмотря на обещание, есть я не стал, зато придумал новую отличную схему – приготовленную с вечера мамой еду скармливал дворовым псам и кошкам, а жидкое – борщи, кисели, супы – выливал в унитаз. Мама возвращалась домой с пакетами, переодевалась в домашнее и, не отдыхая, шла на кухню, проверяла мной якобы съеденное, готовила, а затем допоздна просиживала за столом, занося цифры и буквы в таблицы, которые она заполняла своим прыгающим нервным почерком.

Через несколько месяцев, наблюдая за мной, выжатым, исхудавшим, – я даже заслужил в школе кличку Трофи, сокращенно от дистрофика, чем очень гордился – мама, не понимая, что происходит, ведь оставленная утром еда исчезала из кухни, начала терзаться, расспрашивать, переживать, хотела вести к врачу, но затем, похоже, смирилась. Я же, перетерпев боли, слабость, головокружение, почти радовался своему отражению в зеркале.

К концу лета старый гардероб перестал мне подходить. Перед школой мама купила мне новый: штаны, джинсы, рубашку, футболки, свитера, пайту – самое необходимое. Она

отдавала деньги продавцам трясущимися руками, и то ли новые морщины добавлялись на ее бескровном лице, то ли прежние становились глубже.

Первого сентября в школе меня не узнали. Модные дизайнеры могли бы гордиться мной. Мужская версия Кейт Мосс – живой символ анорексии. Учителя смотрели пугливо, с опаской, мальчики прикалывались, а девочки боялись заговорить со мной сильнее прежнего. Но я был доволен. Триумф же случился тогда, когда Маша, увидев нового меня, ахнула, отвернулась, вновь посмотрела и вновь отвернулась. Я торжествовал и еще сильнее втягивал щеки.

Описать мое тогдашнее состояние можно было лишь общим, простецким словом – «хорошо». Потому что испытывал я не счастье, но некое абсолютное ощущение покоя, примиряющее меня с собой, людьми, действительностью.

Довольный я вернулся домой, встал перед зеркалом в ванной. Долго рассматривал себя. Ребер не видно. Живот не прилип к спине. Щеки не вдавлены. Нет, я еще не достиг совершенства. Только сделал крошечный шаг. Надо было идти дальше.

Но то ли бесы исчезли, то ли в организме сработал предохранитель – я оставался в таком же состоянии, как и на первое сентября. Законсервировался. Ни килограмма в плюс, ни килограмма в минус.

И ощущение жира на боках, животе, груди, ляшках развилось во мне с новой чудовищной силой. Переодеваясь, я еще

резче отворачивался, прятался от других, а дома, осматривая себя в зеркале, находя жир, до боли сжимал его пальцами, стараясь расплющить, размять, чтобы превратить в саленое пятно, которое можно было бы стереть тряпкой. Это походило на аскезу по усмирению плоти, но дух мой треснул, ослаб.

В восприятии себя я оставался жирным. И мне надо было жить с этим. Чтобы однажды – я думал об этом поступке каждый вечер, когда, помолившись, укладывался спать – не прыгнуть в костер, который мог бы растопить весь мой жир, дабы я наконец стал нормальным.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.